

Саша Филипенко

Саша
Филипенко

Кремулятор

серия
«самое время!»

Р О М А Н



МОСКВА 2022

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6
Ф53

Оформление
Валерий Калныньш

Филипенко, Саша
Ф53 Кремулятор: роман / Саша Филипенко. — М. : Время, 2022. — 212 с. — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-2232-

От этого текста пышет печным жаром и тянет могильным холодом — причем одновременно. В основе романа материалы следственного дела Петра Ильича Нестеренко, директора Московского крематория на территории Донского некрополя. Работая над романом, Саша Филипенко повторил путь главного героя, вслед за ним побывав в Саратове и Париже, в Стамбуле и Варшаве. Огромный объем архивных документов предоставило автору общество «Мемориал». «Кремулятор» — художественная реконструкция совершенно удивительной судьбы.

ББК 84(2=411.2)6

© Филипенко А. А., 2022
© «Время», 2022

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СЛЕДСТВИЕ

Обыск и арест проводят 23 июня 1941 года. На всё про всё уходит шесть часов. Работа привычная, однако атмосфера нервная — всего день как объявлена война. Пока Брестская крепость сдерживает невообразимое давление фашистской машины, столицу Советского Союза накрывает волна незаметных изъятий. В квартирах и в парках, в институтах и в наркоматах вяжут потенциальных шпионов. Несмотря на размах мероприятия, задержаний не так уж и много — арестовывают всего 1077 человек, в которых бдительные советские органы видят предателей и троцкистов, бактериологических диверсантов и прочих (для заключения под стражу существует и такая графа). Цифра столь незначительна, потому что с большинством линейников разобрались еще в 37-м, когда только по подозрению в работе на Польшу к расстрелу были приговорены более ста тысяч человек (если быть точным — 111 091 гражданин). Действительный штат польской разведки не насчитывает и двухсот агентов по всему миру, но что уж тут поделаешь, ты же знаешь, милая, наши старательные органы уничтожают впрок и наверняка.

«Лучше перебздеть, чем недобздеть», — переворачивая мою библиотеку, замечает один из чекистов. От грубости этой крохотную квартирку начинает выворачивать вещами и меня выводят на улицу.

В пользу следствия они изымают восстановленный военный билет, записные книжки (шесть штук) и разного рода письма (в количестве 30). Кроме этого, проводящих обыск товарищей Козлова и Лягина интересуют адреса и телефоны (на 76 листах), личная переписка (почти 200 страниц) и три книги: о магии, о штундистах и о карма-йоге.

Вечером того же дня меня доставляют во внутреннюю тюрьму НКГБ, где фотографируют, опрашивают для анкеты и отбирают взятые с собою вещи:

одеяло серое байковое — 1 шт.;
простыни х/б — 2 шт.;
полотенце — 2 шт.;
наволочки — 2 шт.;
платки носовые — 6 шт.;
рубашки разные — 2 шт.;
трусы х/б — 1 шт.;
носки разные — 2 пары;
щетку зубную — 1 шт.;
мыло простое — 1 кусок;
салфетку — 1 шт.

Всё это собрано мною впопыхах, всё это, конечно, более ни к чему.

Оставшись в камере, я не скулю, не плачу и не бьюсь головой о стену. «Произошла ошибка!» — о нет, подобных глупостей, взывая к надзирателям, я не кричу. Бессмысленные и пошлые проявления человеческих эмоций меня не занимают, а потому, сев на холодный пол, я без особенного интереса разглядываю клюв высживающей меня наседки:

— Расстреляют тебя? — совершенно бестактно спрашивает он.

— Нет.

— Почему?

— Потому что шесть французских платков отобраны, но одну советскую простынь они все-таки выдают...

«Смерть есть мое первое детское воспоминание», — однажды, задолго до ареста, в одном из изъятых теперь дневников запишу я.

Каждый день, куда бы мы ни шли вместе с мамой, путь наш непременно пролегает через сельское кладбище. Иногда мама останавливается возле какого-то креста, чаще, ускоряя шаг, проходит мимо. неизменно одно — даже если нам нужно месить грязь в совершенно другом направлении, каждый день мы оказываемся здесь — петля.

Научившись складывать буквы в слова, я поражаюсь однажды, что на кресте выведены мои имя и фамилия.

— Мама, это для меня? Сюда меня положат, когда я вырасту?

— Нет, глупенький! Здесь похоронен твой родственник! Тебя назвали в честь него...

Каждый день мы проходим мимо могилы с моим именем, и я обещаю себе, что никогда не умру...

«И вытри кровь, пожалуйста...» — с любовью говорит мне мама. Как ты помнишь, с самого детства у меня плохие сосуды.

Первый московский допрос проходит стремительно и комично. Следователь поздравляет меня с наступающим пятьдесят пятым днем рождения и заявляет, что перед ним шпион. На какую именно разведку я работаю, он не уточняет, однако, раскрыв юную, хрупкую еще совсем абитуриентку-папку, не поднимая глаз, для чего-то

наигранно щелкает языком и добавляет только, что Нестеренко Петру Ильичу светит 58-я статья.

— И? — спокойно спрашиваю я.

— У-во-ди-те! — вдруг чеканит он.

Фальстарт. Попробуем заново.

В течение четырех месяцев это бессмысленное представление то и дело повторяется. словно в гимназии, следователь усаживает меня на стул, строго отчитывает и задает совершенно бестолковые вопросы. «Кто? Зачем? Почему?» Затем он для чего-то пробует меня напугать, однако, не имея времени на полноценные пытки (таких, как я, у него полна горница), всякий раз делает это довольно поверхностно и штатно. Убедившись, что я не собираюсь свидетельствовать против себя, дознаватель вновь и вновь тяжело вздыхает и приказывает меня вывести.

Глупо, но мы буксуем.

Следователь злится — мяч на моей стороне. Как бы странно это ни звучало, но летом и осенью 41-го года я имею некоторый перевес. Время теперь работает на меня. 37-й, по которому так тотальгирует мой дознаватель, прошел. Обновленное квазиправосудие требует от него пускай и формальных, однако допросов, возможно и выбитых, но все же свидетельств (валяй и лже). Увы и ах, но просто так меня теперь не расстрелять. В границах осажденной Москвы следователю положено потрудиться, как и в любом другом советском дельце, выполнить хотя и совершенно бессмысленную, однако норму. Этому бесполезному человеку необходимо хоть что-то на меня накопать, а контекст между тем препятствует — немцы стоят уже у Москвы. Гитлер приказывает выслать своим солдатам парадную форму, и, пока одни жители

столицы учат первые немецкие словосочетания: «Guten Tag!», «Wie ist Ihre Stimmung?» и «Heil Hitler!» — другие набивают помойки портретами всесильных Ленина и Сталина. От наскоро сжигаемых документов чернеет земля, и самый частый звук теперь хруст — не снега, но разрываемых партийных билетов. В этой ситуации моему дорогому следователю можно только посочувствовать — выбивать необходимые признания в столь неудобных обстоятельствах — сложно.

— Ты чего такой радостный, а? Ты что, не понимаешь, что скоро начнется отступление, и чекисты всех нас перестреляют?! — то наступая, то отпрыгивая назад, истерично дергается и кричит мой трусливый шакал-сокамерник.

— Не расстреляют...

— Почему ты в этом так уверен?!

— Потому что в случае взятия Москвы немцы используют наши трупы в пропагандистских целях — в начале войны подобные ошибки допускать нельзя...

— Уверен?

Да, потому что точно так же они сделают, например, во Львове. Войдя в город, фашисты обнаружат заваленную трупами тюрьму и, вместо того чтобы скрыть ужас от глаз людских, пригласят родственников. «Смотрите! — скажут новые хозяева города, — вот что, отступая, натворили красные с вашими отцами, братьями и сыновьями. Выбирайте, на чьей стороне вы теперь хотите воевать...»

Всё это очень понятно. В мирное время одни правила игры — в военное другие. Главное — вовремя перестроиться и не унывать. Хаос хаосом, но, в общем-то, некоторые события несложно предугадывать. Война алогична, а это уже кое-что, чтобы начать ее понимать.

Ровно поэтому, когда сентябрьской ночью меня вдруг выводят из сырой камеры, я не прикусываю губу и не приглаживаю редкие, ставшие слабыми за последние годы волосы. На прощанье я не вспоминаю ни огни Босфора (хотя мог бы), ни твой острый подбородок, милая. Я понимаю, что меня ведут не к палачу, и в который раз в жизни оказываюсь прав...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о принятии дела к своему производству

Гор. Саратов, 1941 года сентября «17» дня.

Я, ст. следователь Следственной группы 2-го Управления НКВД СССР лейтенант Госбезопасности Перепелица, рассмотрев материалы следственного дела

№ 2716 по обвинению Нестеренко Петра Ильича — НАШЕЛ:

Нестеренко П. И. арестован в Москве 23/VI 1941 года по обвинению в шпионской деятельности и этапирован в гор. Саратов.

Учитывая, что по делу необходимо вести дальнейшее следствие, руководствуясь ст.ст. 110 и 96 УПК СССР, —

ПОСТАНОВИЛ:

Следственное дело за № 2716 по обвинению Нестеренко Петра Ильича для дальнейшего следствия принять к своему производству.

Ст. следователь След. группы
2-го Управления НКВД СССР
лейтенант Госбезопасности
Перепелица

Как ты уже поняла, милая, подозрительный по шпионажу, две недели я трясусь вагонзаком в Саратов. Конвоиры пьянствуют, собачатся на самые антисоветские

темы и роются в моих вещах — суки подлые, — еды почти не дают.

Разглядывая диезы решеток, за неимением прочих забот долгими остановками я размышляю о собственной судьбе:

«Верно ли прожита твоя жизнь, старик, если, истоптав пятьдесят пять лет, ты вдруг оказываешься в чреве казенной гусеницы, что через всю страну, то сжимаясь, то дергаясь вперед, тащит тебя к месту нового допроса? Правильно ли отыграна твоя пьеса, соколик, коли в столь приличном возрасте ты путешествуешь поездом, в котором шипит не шампанское, а подыхающий человек?..»

Вопросы эти, конечно, в пустоту. В действительности они необходимы мне только для того, чтобы не думать о тебе и чем-нибудь себя занять. Ехать две недели в Саратов — тяжело, ехать так утомительно и скучно.

— Чё, не очень-то они пекутся о нас, да? — выглядывая из-за чьего-то плеча, спрашивает вдруг анекдотист с полным выпавших клавиш ртом.

— Это путешествие, мой дорогой друг, мало чем отличается от времен гражданской войны...

— Так ты из белых, что ли, будешь?

— Из серых...

— Это как?

— А долго объяснять, уважаемый...

— Так ведь вроде есть у нас время на длинные беседы...

— Вот и давайте его промолчим...

Саратовская тюрьма, которую за форму ее называют «Титаником», оказывается укоренившимся в земле продолжением этапа. Острог как острог. Утром баландер приносит теплую водичку с солью, на обед подают бол-

тушку с рыбьей головой. Вечером похлебка из зеленых помидоров и раз в месяц, если повезет, сахар, который насыпают прямо в руки. В такие моменты, разглядывая ладони, я представляю высохшую степь, которую укрывает снег.

Из хлеба я мастерю шахматы, однако каждые три дня находится мудачок, который фигурки мои тащит да съедает. Одним из сокамерников оказывается академик Вавилов, и я все время думаю на него — за большим именем прятаться легко. Вавилов целыми днями ходит туда-сюда и для чего-то бубнит, что в аресте его виновен Лысенко (будто теперь это может на что-то повлиять). Иногда великий советский ученый останавливается и в моменты такие начинает заниматься просветительской деятельностью, словно кто-то его об этом просит:

— Если же попытаться осмыслить наше время, — заводится он, — станет очевидно, товарищи, что мы просто-напросто не успеваем облагораживать народные массы! Ровно так, как мы не можем окультурировать все поля, не получается у нас пока (!) и вывести нового человека. Несмотря на все сложности и препятствия, людей рождается всё больше, а количество образованных граждан остается на прежнем уровне. Как результат, у нас увеличивается пропасть между образованными и необразованными людьми. Если так пойдет и дальше, однажды мы заметим, что сорняк — наша главная и единственная культура!

— Ничего, война перепашет! — раздается с верхних нар.

Я слушаю и улыбаюсь. Ты же знаешь, милая, жонглирование метафорами меня никогда не раздражало. Понятно, что каждый спасается как может. Этого сдавшегося бедолагу мне даже немного жаль. Маловероятно, что он выберется отсюда. Академик наверняка умрет

здесь голодной смертью, и единственное, на что ему теперь стоит рассчитывать, — соседнюю улицу, которую много лет спустя, признав ошибки партии, зачем-то назовут в его честь.

«Будет настроение, — думаю я, — обязательно расскажу тебе, мил человек, чем в действительности удобряют эту землю».

Пока же, закрыв уши руками после французского и турецкого, после польского и болгарского, в мыслях поцеловав тебя, я берусь за изучение нового языка:

Айк — икона
Балабас — сахар
Вара — контрабанда
Гамза — деньги
Декча — голова
Енгин — опасность
Журня — морг

Запомнив самые необходимые в новой жизни слова, я закрываю глаза и готовлюсь заснуть, однако сделать этого не успеваю — меня вызывают на первый саратовский допрос.

ДОПРОС ПЕРВЫЙ

Войдя в сумеречную камеру, я хрюкаю и улыбаюсь. Да-да, так и происходит, поверь мне! Сдержаться сложно, смешок вырывается сам собой. Следователю моему нет и тридцати. Лицо чистое, румяное, пионерское. Перепелица Павел Андреевич — будем знакомы!

Едва взглянув на него, я понимаю, что щеки молодца наливает свежая чекистская кровь. Новый кадр. Очевидно, паренек пришел в органы после последней волны чисток. Орленок в чужом гнезде. Персонаж, судя по всему, старательный — такой юный, а уже старший следак. В то время как его сверстников в срочном порядке вывозят погибать на разворачивающуюся бойню, он — серая мышка — усердно штампует расстрельные статьи. В Москве у следователя Перепелицы новая квартира в доме на улице Горького — есть за что сражаться.

«И соседи у него, — думаю я, — непростые: на лестничной площадке, вероятнее всего, квартирует Минос — судья царства умерших, этажом выше Геката — богиня мрака, а под ним, вне всяких сомнений, то и дело передвигают мебель подполковники Танатос и Гипнос...»

Следователь Перепелица берет с места в карьер. Биографию мою он меряет косою саженью, спрашивает то о службе, то о Великой войне. Дельце это ему хочется сшить наскоро, однако помогать в столь спорном пред-

приятии я не готов — мне, как ты понимаешь, умирать не с руки.

— Значит, будем бодаться?

— Никак нет, товарищ следователь... — Я вам не товарищ!

— Тоже верно...

И хотя Харон — такой же штатный сотрудник НКВД, как и Перепелица, лодка его всё же имеет некоторое расписание — несколько первых ходок я предпочитаю пропустить.

— Нестеренко, у нас с тобой есть два варианта: ты сейчас же мне честно во всем сознаешься, и суд, принимая во внимание твое содействие, вынесет справедливый советский приговор, или же...

— Или же?

— Или же есть путь второй... Думаю, тебе, человеку военному, объяснять не нужно. Скажу только, что путь этот потребует от меня применения всех методов оперативной работы...

— Прямо всех?

— Да, Нестеренко, всех!

— Что ж, в таком случае я предпочитаю его.

— Хорохоришься, значит?

— Хочу, чтобы невиновность моя была доказана всеми возможными способами, гражданин начальник!

— Ну что ж...

«Ясно», — недовольно ворчит Харон и, выбросив окурок, отталкивается веслом от берега.

Покамест нам не по пути.

Так и не сумев наскоро усадить меня в кимбий, следователь Перепелица вынужденно открывает многомесячный марафон допросов, в котором одни наши встре-

чи оказываются стремительными, как влюбленность, а другие совершенно бесконечными, как боль.

— Ладно, Нестеренко, сегодня мы с тобой вот с чего начнем: расскажи мне, за сколько сгорает человек?

— Что?

— Я спрашиваю тебя, за сколько сгорает человек?

— За жизнь! — вырывая волосок из носа, отвечаю я.

— Нестеренко!

— Человек сгорает за полтора часа, товарищследователь.

— Я уже говорил тебе, что я тебе не товарищ!

— Простите великодушно...

— Продолжай!

— Если причиной смерти становится расстрел, — спокойно и подробно объясняю я, — в ведрке с прахом остаются пули — одна, иногда две...

— Разве пули не плавятся при такой высокой температуре?

— Это зависит от сердечника...

— Понимаю... Показывай дальше!

— А что дальше?

— Нестеренко, показывай с того места, на котором вы со следователем остановились в Москве, рассказывай относительно ночи, когда в крематорий приехал Голов и потребовал от тебя выдать ему прах Зиновьева и Каменева...

— Понял, показываю дальше: обыкновенно пули из праха никто не извлекал...

— Почему?

— Потому что на все пули не хватило бы ведер...

— Так, давай без литературы!

— Давайте...

— Значит, Голов потребовал от тебя прах Зиновьева и Каменева, верно?

— Верно. В ту ночь Голов действительно потребовал, чтобы я вынес ему прахи больших товарищей Советского Союза Зиновьева и Каменева, из которых он собственноручно на моих глазах извлек пули...

— Зачем?

— А мне почему знать? Может, на зубы хотел переplавить?!

— Нестеренко, давай мы сразу с тобой договоримся, что обойдемся без шуток! Я сказал без шуток, понял?!

— Да...

— Таких, как ты, у меня здесь целый корабль! Я не позволю тебе тратить мое время, усек?!

— Еще как...

— А теперь продолжай! Для чего, по-твоему, гражданин Голов потребовал от тебя пули из прахов Зиновьева и Каменева?

Хороший вопрос, только стоит ли на него отвечать? Как думаешь, сможет ли товарищследователь поверить в то, что я расскажу? А если и поверит, то что с того? Что это может изменить? На что повлиять? Внутрипартийные ритуалы — вещь изощренная и сложноподчиненная. Нужен ли ему свой собственный Вергилий?

— Отвечай, говорю!

— Думаю, что, исполняя приказ, Голов очистил пули и отвез их товарищу Ягоде...

— Для чего, по-твоему, эти пули нужны были Ягоде?

— Сложно сказать...

— А ты представь!

— Думаю, что как человек сентиментальный для собственного удовольствия, теща самолюбие или наслаждаясь мезтью, а вполне возможно и то и другое, Генрих Ягода некоторое время держал эти пули в ящике письменного стола, однако, когда его самого расстреляли,

памятные артефакты перекочевали в шуфлядку к товарищу Ежову, которого тоже, как вы знаете, кончили...

— Что такое шуфлядка?

— Когда я служил в Барановичах, так называли выдвижной ящик стола...

— Ясно. Продолжай показывать про пули...

— После Ежова пули, надо полагать, предложили товарищу Берии, однако он, будучи человеком не столько умным, сколько суеверным, думаю, отказался...

— Нестеренко, я последний раз тебя предупреждаю — оставь свои шуточки и остроты!

— Да пожалуйста, но вы же сами спрашиваете, а я отвечаю...

— Ты утверждаешь, что Ягода и Ежов хранили пули расстрелянных Зиновьева и Каменева только для собственного удовлетворения?

— Других причин не вижу...

— Ясно. Тебе известно, кто расстрелял их?

— Кто стоял за расстрелом или кто непосредственно выполнял?

— Кто выполнял?

— А какая разница?

— Вопросы здесь задаю я!

— Понятно... Зиновьева и Каменева расстрелял товарищ Блохин... — Почему ты в этом так уверен?

— Это было видно невооруженным...

— Поясни!

— Я почерк Василия Михайловича Блохина хорошо знаю и работу его чрезвычайно ценю...

— В каком смысле?

— В таком смысле, что Блохин всегда аккуратен. Он труженик и настоящий профессионал. С уважением подходит к собственному делу, а следовательно, и к моему. Такие люди редкость.

— Поясни, говорю!

— Блохин всегда стреляет так, что пуля проходит в затылок снизу вверх, оставляя череп целым. Когда приговор в исполнение приводят его помощники, перекалывая трупы, я нередко вынужден собирать ошметки голов, что отнимает лишнее время. Согласитесь, если за ночь вам необходимо кремировать пятнадцать-двадцать человек, отвлекаться на такого рода хлопоты глупо. Впрочем, осечки бывают даже у Блохина. Несколько лет назад тело мужчины, которое я уже загружал в печь, подало вдруг признаки жизни. Вероятно, занятый рутинной работой, Блохин выстрелил как-то не так, и пуля не задела мозг, или что-то еще — не знаю, ведь Блохин расстреливал десятки тысяч осужденных, и, конечно, пометки при таких объемах могли быть... В общем, мужик тот оказался жив. Кажется, он даже соображал, что происходит...

— И?

— Что и?

— Что ты сделал?

— А что я должен был сделать? Конечно же я пришел на помощь товарищу!

— Какому товарищу?

— Блохину! Какому же еще?

— Нестеренко!

— Вам ли не знать, гражданин начальник, что нужно сделать с человеком, который по документам уже расстрелян, а на деле еще жив?

— Я спрашиваю, что ты сделал?! Выстрелил еще раз?!

— А чем бы я выстрелил? Взглядом? У меня табельного оружия нет. К тому же, зачем пулю тратить? Блохин приподнял мужчину за волосы и несколько раз ударил затылком о тележку. Когда все мы убедились, что осужденный вновь мертв, я кремировал его...

Подобные истории, милая, действительно случаются — большой поток. В последние годы расстреливают

много, к тому же на местах постоянно просят увеличить лимит. Всем хочется доказать свою преданность Москве. Негласная всесоюзная спартакиада, в которой палачи соревнуются в показателях, разумеется, плодит помарки. Объем создает брак, впрочем, несмотря на множество заинтересованных, приблизиться к показателям Блохина практически невозможно. Стаханов курка! Пожалуй, только комендант Зеленый из Харькова, который лично расстрелял почти семь тысяч человек, может подняться на один пьедестал с великим Василием Михайловичем. В общем, добивать людей Блохину, конечно, иногда приходилось — издержки профессии. Например, несколько лет назад он повторно расстрелял некоего гражданина Чазова...

Как-то раз за бутылкой водки Блохин рассказал мне, что кулак Чазов, будучи приговоренным тройкой, бежал из-под расстрела в Новосибирске и приехал жаловаться на произвол чекистов в Москву. На допросе Чазов показал, что был осужден неправомерно, после чего его вывезли на полигон, ударили прикладом по затылку и бросили в яму к другим таким же полуживым осужденным, как он. Всех их ленивые энкавэдэшники собирались расстрелять сверху вниз, стоя на краю рва. Так и поступили. Для проформы разрядили несколько обойм, однако во время бойни Чазов не шевелился, что и позволило ему спастись. Судя по всему, приняв его за мертвого, палачи не палили в него (хотя, конечно, должны были, потому что притворялись многие). Так или иначе, когда горе-коменданты уехали, Чазов бежал. Сперва из ямы, а затем и из города. Чазов приехал в столицу, чтобы рассказать московским следователям, что там, далеко в провинции, существуют перегибы на местах. Выслушав его, столичный дознаватель был обескуражен — прежде всего, работой новосибирских коллег. Халтуру осудили, а Чазова постановили расстрелять повторно и наверняка. Ответ-

ственное задание поручили самому опытному палачу Советского Союза — товарищу Блохину, и следует отметить, моя дорогая, что Василий Михайлович не подвел.

— Что ты еще можешь сказать о работе Блохина?

— А что еще можно сказать? Старательный товарищ, впрочем...

Впрочем, я знаю людей, которые Блохина критикуют. Одни говорят, что всякий раз после расстрелов он устраивает пьянки (что правда), другие — что время от времени присваивает себе вещи убитых (что тоже так). Как бы там ни было, ни в первом, ни во втором случае ничего предосудительного я не вижу. У всякого продукта, даже в Советском Союзе, есть себестоимость — у всякой работы должен быть налог. Важно понимать, что, с одной стороны, труд Василия Михайловича тяжелый (иногда приходится расстреливать и по несколько сотен человек за ночь), а с другой... что плохого, если какой-нибудь плащ или, скажем, красивая жилетка сослужат добрую службу ему или его супруге? «К чему так печься о чужих вещах?» — иногда думаю я.

Если уж о чем-то и стоит беспокоиться, так, скорее, о дефиците, который имеет место в нашей стране. Если бы все эти красивые вещи Блохин мог купить в магазине — разве стал бы он снимать их с трупов и преподносить жене?

Иногда на такой-сякой тихой улочке Москвы родственники расстрелянных узнают вдруг на встречном прохожем редкие предметы своих пропавших близких: тут шарф, там совершенно особенные туфли, а вот на переносице кричат об исчезнувшем супруге исключительные по своей красоте французские, в роговой оправе очки (и надо же, подошли! Как символично, что и у палача, и у жертвы — близорукость). Понятно, что в такие

моменты становится неудобно и Блохину, и другим исполнителям, а уж тем более их ни в чем не повинным женам. В такие дни случаются эксцессы — приходится задерживать и тех, кто опознал вещи своих родственников. Тайна должна оставаться тайной — массовых репрессий в Советском Союзе (почти) нет.

Я твердо убежден, что люди предназначены для разных целей — одни рождены быть расстрелянными, другие рождены убивать.

Есть, например, женщины, с которыми приятно оказаться в темной комнате, доверять им свой член, но неприятно разговаривать после. Есть мужчины, с которыми вы предпочтете быть в бою, но ни в коем случае не захотите разговаривать в окопе в ожидании сражения. Я знал мужчин, которых в разные периоды своей жизни называл друзьями, которым готов был излить душу, но с которыми ни в коем случае не захотел бы оказаться на одном отбывающем в Константинополь корабле. И наоборот. Наша жизнь состоит из людей, с которыми нам интересно говорить о театре, балете или опере, но ни в коем случае не хочется оказаться на соседних местах. Комендант Блохин — именно такой человек. С Василием Михайловичем удобно работать, но не очень-то хочется дружить.

— Благодаря Василию Михайловичу, — рассматривая ногти, продолжаю я, — мне не приходится выполнять лишнюю работу. Как вы понимаете, гражданин начальник, хватает и своей. Так, например, я ведь сжигаю не только трупы, но и вещи осужденных. Иногда, разглядывая ту или иную рубаху, я с сожалением бросаю ее в печь, представляя, что тут на ней могла бы появиться заплатка, а вот тут, например, быть пролито молоко...

— Нестеренко!

— Кроме этого, время от времени я вынужден сжигать тент грузовика, которым накрывают привезенных расстрелянных. К сожалению, оливкового цвета ткань довольно быстро пропитывается кровью, начинает пованивать, и использовать ее на длинной дистанции не представляется возможным. Вот тут, думаю, Василий Михайлович недорабатывает. Мне кажется, что менять этот тент должен он сам или его подчиненные, впрочем, тут уж вопрос дискуссионный...

— Время дискуссий, Нестеренко, для тебя закончилось! Возвращаемся к Голову! Что еще тебе известно о его преступлениях?

Тут я отвечаю не сразу. Знаешь, милая, сперва я внимательно смотрю на него. «И зачем он только спрашивает меня о Голове? — думаю я. Какой ему в этом прок? К чему собирать информацию на человека, которого уже расстреляли? Зачем мы тратим столько времени? Что ему нужно? Хочет посмотреть, буду ли я стучать на мудака, которого уже нет в живых? Желает проверить, до какой степени и я тоже свинья? Словно врач, щупает, как далеко в показаниях своих я могу зайти и кого еще смогу сдать? Да, теперь это, пожалуй, самое важное. Со всем скоро он убедится, что в шпионаже обвинить меня не удастся, и тогда начнет возить меня туда-сюда в одном-единственном стремлении услышать новые фамилии, которые там-сям пойдут или уже проходят по другим делам...»

— Так что тебе еще известно про Голова?

«Ладно, хочешь про Голова — получай про Голова — мертвых мне несложно сдавать», — думаю я.

— Мне точно известно, гражданин начальник, что иногда, вместо того чтобы привозить трупы для кремации, он давал возможность хоронить их на

Калитниковском кладбище... — То есть это как?

— То есть это вот так...

— Ты хочешь сказать, что граждане узнавали, что их родственников расстреляли, и даже получали возможность захоронить тела?

Я хочу изобразить, что я человек честный, что сотрудничаю со следствием, и ты это прекрасно понимаешь, гражданин начальник.

Не помню, милая, говорили ли мы с тобой когда-нибудь об этом, но во времена работы парижским таксистом и много раньше, в годы, когда по долгу службы мне приходилось возглавлять полевые суды, я усердно изучал людей. Эту свою наблюдательную мышцу я старательно тренировал и теперь, смею утверждать, имею некоторый антропологический опыт.

«Вот, скажем, этот Перепелица, ну ни капельки не актер! Юный еще — не научился изображать удивление. Плохо играет! Впрочем, про театр ты, конечно, знаешь гораздо больше — не буду, милая, так сказать, занимать твою сцену...

Про трупы, которые не доезжают до ям и рвов, следовательно, конечно, знает, однако образ честного советского человека обязывает его строить из себя дурачка. С другой стороны, уже на первом допросе я замечаю, что, несмотря на возраст и посредственные актерские способности, у оппонента моего есть и сильные стороны. Судя по всему, Перепелица — сотрудник талантливый, обладающий отличным профессиональным слухом. Следовательно фиксирует только то, что действительно необходимо делу. Внимательно наблюдая за чекистской кистью, я без труда отмечаю те редкие моменты, когда включа-

ется его огрызок-карандаш. Перепелица реагирует предвзято и избирательно лишь на те отдельно взятые слова, что взаправду могут пригодиться в будущем. Думается, в другие времена из него получился бы хороший редактор. Ничего лишнего, вот это все давайте уберем, а вот здесь у вас повтор...

О великое ремесло человека-функции! Забойщик-комбинатор, мой дорогой собеседник как никто другой умеет вылавливать и приобщать. Подобно настройщику органа в подотчетном мне Московском крематории, Перепелица не обучен играть на инструменте, но отлично понимает, как его отстроить. Следовательно не исполняет, но лишь подготавливает инструмент для тех своих коллег, которые со всей мощью и советским остервенением однажды зафальшивят мой приговор.

— Всякий диктаторский режим, гражданин начальник, непременно держится на коррупции — с улыбкой, после некоторой паузы, продолжаю я.

— Про диктаторские режимы — это твое мнение?

— Это цитата.

— Чья?

— А я уж и не вспомню...

Знаешь, милая, Перепелица цокает, но даже не улыбается! К великой грусти все эти бесконечные ночи мне придется беседовать с человеком без чувства юмора. Купированная ирония, кастрированный сарказм. Насмешливость, язвительность и колкость — о нет, все это, увы, не про следователя Перепелицу. Чем больше я узнаю своего дознавателя, тем сильнее убеждаюсь, что всё в нашей судебной системе устроено не так: арестованный должен выбирать своего дознавателя, а не наоборот. Что я могу рассказать ему? О чем нам вообще можно разговаривать, если он застегнут на все пуговицы? Мой дорогой юнец

не бывал ни в Софии, ни в Берлине, даже если я захочу описать ему атмосферу Версаля, разве сможет он почувствовать ее? Как между нами могут сложиться столь необходимые советскому правосудию доверительные отношения, если товарищ Перепелица не умеет смеяться над собой? Тот же Блохин, например, очень хорошо шутит о расстрелянных, а наш общий коллега, Окунев, пускай и при довольно странных обстоятельствах, но все же иногда заговаривает со мной о театре. И разговоры эти, милая, я, конечно, чрезвычайно ценю...

— Не очень-то вы любите веселиться, правда, гражданин начальник?

— Отчего же не люблю? Очень даже люблю, но только с друзьями, с товарищами по оружию, а не с врагами народа!

— Так ведь нынче каждый день товарищи становятся врагами, верно?

— Не переживай! Скоро мы эту ситуацию исправим!

— Это как же?

— А перебьем всех вас!

— Вы правда полагаете, что это возможно?

— Возможно!

— Вы в самом деле думаете, что можно дойти до какой-то такой точки, когда Советский Союз сможет уничтожить последнего врага и наконец приступит к строительству идеального общества?

— Я в этом твердо убежден!

— Дело непростое...

— Не ехидничай, Нестеренко, все необходимое для этого у нас есть!

— О, могу себе представить! Великие советские рудники! Миллионы доносов и показаний, золотые прииски оговоров да журчащая непрошенная клевета, да?

— Красиво, Нестеренко, очень красиво, да только зря ты тут умничаешь и строишь из себя весельчака! Очень

зря! Я знаю, что ты, как и все те, кто сидел на этом стуле до тебя, просто гниль, падаль и трус! Ты лишний человек в нашей стране, Нестеренко, ты — враг!

— Правда? Лично мне кажется, что Советскому Союзу я приношу много пользы...

— Тебе кажется! У нас незаменимых нет! У тебя перед Советским Союзом осталась только одна и последняя обязанность — предельно точно отвечать на вопросы следствия. Ты избалован! Твой долг, Нестеренко, выдать своих подельников!

— Ну-у... долг есть долг...

— Заткнись и внимательно слушай мои вопросы! Итак, откуда тебе известно, что некоторых осужденных хоронили на Калитниковском кладбище, а не привозили на кремацию?

— Я что-то не очень понимаю, гражданин начальник: вы меня обвиняете в работе на другое государство или спрашиваете про московские кладбища и трупы людей, которых сами же приговорили к расстрелу?

— Отвечай на мой вопрос!

Ответить-то я, конечно, отвечу, только вот ведь и мой вопрос интересен, правда? И в самом деле скольких людей, которых расстреляли из-за его старательной работы и желания жить в самом центре Москвы, привозили ко мне, а? Во скольких его делишках именно моими руками была поставлена точка?

— Нестеренко, ну что ты вылупился? Я повторяю, откуда тебе известно, что некоторых осужденных хоронили на Калитниковском кладбище, а не привозили на кремацию?!

Ну что ж — раз уж ему так не терпится — у Петра Ильича всегда найдется ответ!

— Референт Московского совета Эммануил Абрамович Цейтлин приблизительно в 1932 году рассказал мне, что труп его расстрелянного родственника при помощи могильщиков Калитниковского кладбища был обнаружен семьей...

— Как это они его обнаружили?!

— Вот и у меня такой же вопрос возник! Ну уж точно не стол вертанули... — Нестеренко, как они обнаружили захоронение?!

— Встретившись как-то с Головым, я спросил его, как это так получилось, что труп расстрелянного оказался похороненным на Калитниковском кладбище, и родные имели возможность оформить могилу...

— И что он на это ответил?

— Голов ответил мне, что такие факты действительно имели место быть, однако к периоду, в который случился наш разговор, они уже были устранены...

— А почему вы вообще говорили об этом с Головым?

— В период с 1932 по 1935 год, как вы знаете, я ведал всеми кладбищами Москвы. Однажды я сказал Голову, что в связи с тем, что трупы расстрелянных преступников незаконно закапываются на Калитниковском кладбище, может произойти казус, когда могильщики, копая яму для «нормального» погребения, обнаружат вдруг сюрприз в виде трупов расстрелянных...

— И как на это отреагировал Голов?

— Голов фыркнул, что меня это не касается.

— Понятно. Тебе еще известны случаи, когда родственники расстрелянных обнаруживали трупы и устанавливали могилу?

— Со слов Голова, таких случаев было всего несколько, но конкретно больше ничего показать не могу.

— Уверен?

— Как пить дать.

— Были ли случаи, когда прах расстрелянных уходил на сторону?

— Прах?

— Да, Нестеренко, прах!

— Во-первых, иногда прах забирали на удобрения в поля...

— Зачем?

— Это вы у Вавилова спросите...

— Я же сказал тебе — хватит острить!

— Во-вторых, зимой в целях экономии песка, которого, надо отметить, на кладбище поставляли чрезвычайно мало, я посыпал дорожку от крематория до ямы, но только в нескольких местах, чтобы не поскользнуться. Так или иначе, масса, так сказать, утерянного или изъятых праха всегда оказывалась совершенно незначительной, так как четкого указания, куда и сколько я должен был ссыпать, у меня никогда не было.

— Ясно. Значит, я правильно понимаю, что привезенные Головым и Блохиным трупы ты всегда кремировал по ночам?

— Конечно, а когда же еще?! Днем ведь у меня была основная работа...

— А спал-то ты когда?

— Обыкновенно я спал с пяти до десяти часов утра, к тому же, если позволяла ситуация, любил на полчаса провалиться и в сон дневной — днем, если вы замечали, гражданин начальник, самые интересные видения обыкновенно случаются. Знаете, однажды...

— Нестеренко, мне тут не нужно твоих снов!

— Отчего же?

— Меня интересует твоя профессиональная деятельность, а не сны!

— Профессиональная?

— Да! Вот, например, сколько ты кремируешь за день?

— За день сложно сказать...

— Напрягись!

— Официальных или ночных?

— Сперва официальных...

— Проще посмотреть по годам... В 31-м, помню, я кремировал что-то около 8300 человек, в 32-м — чуть более 9000. Далее эта цифра оставалась примерно на этом же уровне. Получается — в среднем двадцать человек в сутки, но это, повторюсь, без ночной работы...

Бог тefры. Все вулканы мира, милая, завидовали количеству пепла, которое я ежедневно производил. Мой подвал на Донском кладбище был настоящим царством Аида. Сын Реи и Кроноса, брат Зевса, я был тем, чье имя старались не произносить. И все же, милая, я был не Танатос — я был не смерть. Скорее Аид — Аид, правящий царством, которого не желал. Зевсу — мир людей и мир неба, Посейдону — мир морской, а мне все кладбища Москвы и первый крематорий — место, которое даже у богов вызывало отвращение...

— Так, а что в другие года?

— Говорю же, в другие года примерно на этом же уровне, меньше только в 1938-м...

— А что произошло в 38-м? — Печь не выдержала...

— В смысле?

— После 37-го у нас, если так можно выразиться, начались проблемы с поддержанием постоянной температуры репрессий — человек может вытерпеть многое, а вот техника иногда нет. На год мы оставили только утренние кремации, а по ночам Блохин возил трупы на полигоны.

— Ясно. Теперь продолжай показывать относительно дневной работы...

— Работа, надо сказать, была самая обыкновенная: семьдесят процентов поступающих были мертворожденные младенцы и бесхозы, впрочем, случались и ин-

тересные дни. Вы вот, например, знаете, гражданин начальник, что именно я кремировал Маяковского?

— Знаю, Нестеренко, знаю...

— Не сказать, что я хочу перед вами похвастаться, но я ведь, между прочим, очень много для нашей страны делал и днем! Взять, к примеру, того же Маяковского — о, мне и не передать вам, что там творилось на его-то похоронах! Тяжелый, нервный был денек! Москву буквально парализовало. Люди сидели на деревьях, встали даже трамваи! За грузовиком с гробом двигались не меньше ста тысяч человек!

— Так уж и сто...

— Точно вам говорю! Все эти недоумки, которые в жизни и строчки его не прочли, людишки, которые ни за что на свете не отличили бы его ни от Есенина, ни от Блока, залпом решили завалиться на его похороны. Зевак было до того много, что конная милиция, оттесняя толпу от ворот кладбища, начала палить в воздух! Я помню, что тогда еще подумал: хоть бы они никого лишнего не уколошили, и давки только бы не случилось — наверняка же сразу потащат тела ко мне, а мне тут дополнительная работка не нужна!

— А что ты, Нестеренко, кстати, делал, когда лишние трупы приходили?

— Лишние?

— Ну сверх мощностей...

— Да теперь-то такого особенно и нет. Ну а даже если и приходили, то что с того? Это раньше в церквях колокольни телами до весны набивали, пока грунт не станет податливым. Например, в 1918 году в Москве полный завал был! Брюшной и сыпной тиф, холера и скарлатина. Трупы, как дрова, складировали в мертвецких комнатах. Вы вот знаете, гражданин начальник, что по России-матушке ходил поезд, который собирал тела вдоль рельсов? Нет, а вот так-то! А в Москве да, жмуры горой

на кладбищах лежали, но нынче такого уж нет, гражданин начальник. С трупами (официальными) теперь всё строго. Во-первых, есть морозильные камеры, а во-вторых, если уж и случается какой-никакой перебор — так ведь всегда можно загрузить в печь два тела, вот так вот, валетом их одного на другое кладете и...

— И что, помещаются в печь сразу два?

— Да-да, мы это довольно давно опробовали, еще в те времена, когда билеты продавали...

— Какие еще билеты?!

— Входные...

— Куда входные? В крематорий?

— Ну да! В первые годы работы, сразу после открытия, мы много делали для популяризации кремации в СССР. По всей Москве, например, висели плакаты, в которых объяснялось следующее:

Кремация

1) идеальнейший способ погребения

2) абсолютно удовлетворяет всем требованиям санитарии

3) разрешает земельно-кладбищенский кризис городов

4) незаменима при эпидемиях, войнах и народных бедствиях

5) рассеивает вековые предрассудки

6) наиболее красивый и дешевый способ погребения

7) легкий способ передвижения останков

8) сберегает время родных

9) источник для архитектурного, технического, художественно-промышленного творчества

10) признак высокой культуры

Кроме этого, мы действительно считали, что для просвещения масс необходимо было показывать церемонии

максимальному количеству интересующихся, а потому продавали билеты...

— В крематорий на экскурсию или на саму кремацию?!

— Да, конечно, на саму кремацию!

— Это как?

— Это так, что еще лет десять назад вы могли купить билет и наблюдать за процессом. Очень, кстати, охотно люди шли...

— Даже если вы не родственник?

— Да кто угодно мог прийти!

— И как можно было наблюдать за кремацией, если там створки, насколько я понимаю, закрываются?

— А в печи есть такое специальное техническое отверстие, через которое видно, как сгорает труп...

— И что они там видели, эти люди, купившие билет?

— Ну кто что — это ведь зависело от очереди. Первые наблюдали за тем, как вспыхивал гроб, вторые — как обгорали ткани конечностей, как обжигался костяк головы. Одним доводилось видеть, как расходятся швы черепа, другим — как отпадают пальцы, руки, как исчезают реберные хрящи. Везунчики любовались горящим мозгом. Еще можно было наблюдать, как голова отделялась от туловища, а дальше уж ничего особенно интересного и не было — так, догорание, зольная масса. Впрочем, совсем скоро я от этой практики отказался...

— Почему?

— Ну во-первых, родственники покойника не очень-то были рады группам незваных гостей, а во-вторых, я и сам сердился, потому что вечно находился какой-нибудь хер, который, размахивая купленным квитком, жаловался, что еще не досмотрел. Вот если бы мне удалось продать билеты на кремацию Маяковского — о, думаю, что заработали бы мы больше,

чем целый стадион! К тому же мы могли бы делать это на более-менее постоянной основе, ведь кроме Маяковского я кремировал, например, поэтов Пикеля, Клычкова и Мусатова, впрочем, последние были расстреляны тайно, так что к ним мы бы все равно никого не пригласили...

— А там были только его родственники?

— Где там?

— Ну, на похоронах Маяковского...

— А, там, да. Брик эта его хныкала. Я помню, что так аккуратно попросил ее в сторонку и под звуки Интернационала отправил поэта в последний путь. Кстати, раз уж мы говорим о Маяковском — сразу вам скажу, гражданин начальник, что в последнее время творчество его не особенно ценил.

— Это к делу не относится!

— Ну почему же? Слишком уж он выпячивал свою любовь к Советам, понимаете? Искренности в этом не было, а позы много. По мне, так можно было работать и лучше, и тоньше, как, например, тот же Блохин. А что до самоубийства, так это он вообще зря такой поступок совершил. Я твердо убежден, что нет на свете вещи, из-за которой следовало бы стреляться...

— Ты не допускаешь, что мог бы застрелиться?

— Я?

— Да.

— Да никогда!

— Почему?

— А чтобы что?

— Люди, Нестеренко, стреляются не чтобы что, а отчего-то...

— Ну во-первых, стреляются все, конечно, по разным причинам, а во-вторых, всё же и по одной. Люди стреляются, гражданин начальник, потому что слабые.

Едва на горизонте появляется какая-нибудь крохотная проблемка, все тотчас раздувают ее до размеров цепелина. Вот что с того, что ты, брат, застрелился? Тебе-то, может, и легче, но дальше-то ничего нет — тьма!

— Откуда ты знаешь, что дальше тьма? Ты что, в крематории своем вместе с трупами в печь залезал?

— Я и ранен был, и на самолете падал. Не один раз без сознания лежал, считай, уже всё, на том свете был. После смерти ничего нет, гражданин начальник, одна темнота. Мозг перестает работать — и всё. Так что стреляться, повторюсь, ни в коем случае нельзя! Ты вот пулю себе пустил, а родственникам одни хлопоты: комнату за тобой прибери, мозги твои собери, похороны устрой, плач вне плана. У тебя, может, ожидания какие-то от субботы, свидание, интрижка, а тут вдруг брат там или батя твой пулю заглотнул. И всё! Хана! Люди, которые кончают жизнь самоубийством, во-первых, очень слабые люди, а во-вторых — большие эгоисты! Советскому человеку самоубийство должно быть чуждо!

— Заканчивай давай...

— Знаете, гражданин начальник, я только одно добавлю — у меня есть такой очень простой, но в то же время довольно действенный способ, может, он и вам когда-нибудь пригодится: что бы с вами ни случилось, что бы ни произошло, вы всегда можете добавить к этому событию всего несколько слов — и проблема тотчас решится сама собой...

— Это каких же?

— Но не более того...

— Но не более того?

— Да!

— Умерла мать?

— Но не более того... — Погиб сын!

— Но не более того, гражданин начальник...
— Тебя, Нестеренко, расстреляют!
— Но не более того...
— Я не шучу, тебя действительно расстреляют! — Говорю же — но не более того...

— А потом еще и жену твою арестуют!

— И?

— Что и?! Неужели тебе на это наплевать?!

— Гражданин начальник, в Индии, когда муж уходит в иные миры, вдова совершает омовение. Она распускает волосы и, надев лучшее платье, вместе с родственниками идет к месту кремации супруга. Взявшись за руки, близкие окружают ее, сковывают ей ноги и кладут голову на тело любимого...

— Отрубленную?

— Что отрубленную?

— Голову отрубленную кладут?

— Да вам бы лишь бы отрубить, гражданин начальник! Живую! Живую, конечно! К женщине подходят знакомые, угощают ее сладостями и просят передать сообщения усопшим родственникам в мир мертвых. Неплохая традиция, верно? Нам бы тоже ее ввести. Как только видите, что за тем или иным товарищем приехал воронок — хорошо бы не по шкафам прятаться, а подбежать да успеть передать приветы в иные миры, верно?

— Не отвлекайся — у нас мало времени! Так что там дальше они делают?

— А дальше жрец читает мантры, окропляет голову вдовы водой и после этого дорогие родственники поджигают поленья. Женщину мгновенно охватывает пламя, но цепи уже не дают ей вырваться. Она кричит, но уходит вместе с мужем. Так что, если моей жене и суждено пройти через череду допросов, она через них обя-

зательно пройдет, гражданин начальник, но не более того...

— Проверим.

— Валяйте...

Как ты понимаешь, милая, женой меня Перепелица, конечно, пугает, впрочем, как и расстрелом. Зря. К этому страшному для других арестантов слову я давно готов. Смерть я примеряю десятилетиями — смерть на мне сидит хорошо. С ней я и танцую, и засыпаю, и говорю по душам. Со смертью я так хорошо и близко знаком, что мы уж даже и не флиртуем...

В годы Великой войны, как ты помнишь, я председательствовал в военно-полевом суде. Хотя решения подобные меня всегда тяготили, нередко приходилось приговаривать к расстрелу дезертиров. Казни эти получались обиденными и некрасивыми. Без барабанов, эшафотов и гильотин. Так, пустяк, смерть на заднем дворе. В подобные дни она проходила мимо, даже не поздоровавшись со мной...

Кажется, я до сих пор помню двух первых пареньков, которых не смог оправдать. Дурачье. Самострелы. Мне их жаль было — оба совсем сопляки, однако, что я мог поделать? Правила военного времени. Снисхождения моего никто бы не принял. Даже однополчане, которые уже следующим утром собиралась бежать с фронта, спрашивали, в котором часу мы расстреляем этих детей. Война затягивалась, уклонисты росли как грибы после дождя, и, хотя я полностью разделял их стремление жить, положение вынуждало меня выносить обвинительные приговоры, коих с каждым днем становилось всё больше.

Теперь я понимаю, что более всего прочего война отвратительна тем, что обязывает тебя убивать против собственной воли.

Знаешь, милая, наблюдая за казнями, я нередко замечал, как после расстрелов мои сослуживцы начинали прикидывать смерть и на себя: «А как это будет со мной? А ударит ли дождь, а всплакну ли я?»

Вопросы эти нередко обсуждались и во время попоек. Одни офицеры утверждали, что никакого смысла в предсмертных бравадах нет, что какой толк демонстрировать мужество, если тебя через мгновение потащат за ноги, другие, напротив, настаивали, что человек должен оставаться собой до конца, что без этого финального и символического вызова жизнь нельзя считать завершенной. Более того, многие мои «товарищи» с пеной у рта доказывали, что одно такое секундное малодушие способно перечеркнуть всё представление о человеке: «Никто не вспомнит, как ты вел себя в бою, но все вспомнят, как ты просил о пощаде во время расстрела, и даже наоборот — можно всю жизнь быть подлецом и трусом, но расстрел позволяет тебе в корне исправить представления о себе всего за несколько секунд!»

Впрочем, все эти досужие дебаты велись о смертях чужих. Что же касается кончины собственной... надо полагать, что реальное ощущение неминуемости расстрела пришло ко мне не на войне, а много позже, уже в Москве. С определенного времени у печи крематория начали появляться не только трупы неизвестных мне граждан, но и люди, которые долгие годы эти самые трупы привозили. Шутка ли — я кремировал того же Голова... Он доставил на Донское кладбище не одну тысячу расстрелянных, вместе с ним было выпито озеро водки, но однажды его вдруг арестовали, а потом спустя несколько месяцев знакомое тело выбросили из кузова грузовика.

В ту ночь вместе с Блохиным мы сделали вид, будто ничего особенного не происходит, — очередной заклю-

ченный, но что с того? И все же, люди взрослые, мы оба понимали, что в печь отправляется один из нас, что репрессии бьют по всем, и, если Голов уже здесь, значит, во время допросов стопроцентно всплывали и наши фамилии.

«С ним понятно, — думал я, — но как быть со мной? Интересно, дело на меня уже завели? А что там написано? В чем они обвиняют меня? И главное — Блохин расстреляет меня или я успею кремировать его?»

Когда мысли эти стали ежедневными, я принялся репетировать собственную смерть. Представляя все детали предстоящего действия, как актер в театре, я начинал практиковать будущий расстрел. Однажды, уже изрядно приняв на грудь, я даже спросил у Блохина:

«Михалыч, а как бы ты расстрелял меня, а?»

«Что?!»

«Я говорю, как ты меня однажды расстреляешь?»

«Петь, отвали — дай отдохнуть!»

«Ну нет, мне интересно, как это будет?»

«Быстро, Петь...»

«А быстро — это как?»

«Млядь, ты че? Хера ты заладил, а? Мне вот плевать, как ты меня кремируешь...»

«Тебе плевать, а мне нет! Мне интересно! Вот подойду я к тебе, стану затылком, но руку-то пожму?»

«Во-первых, во время расстрела руки у тебя будут перетянуты проволокой. Во-вторых, не ты ко мне подойдешь, а тебя поставят в “красный уголок”. Я подойду сзади, вот так пистолет приставлю и выстрелю. Ничего особенного, Петь...»

«А тебе будет жалко меня?»

«Нет...»

«Ну-у, неужели ты вообще ничего не почувствуешь?»

«Я тебя даже не узнаю...»

«А потом?»

«А потом я сниму свой кожаный плащ, разденусь до пояса и помоюсь одеколоном, чтобы порохом и кровью твоей поганой не вонять — наливай давай!»*

В ту ночь, репетируя собственный расстрел, я, конечно, задал наивный вопрос. Что за глупость? Ну, естественно, палач бы не дрогнул — на то он и палач! К моменту нашей беседы Блохин перебил тысячи советских граждан. Вдох или выдох. Чих. Блохин обладал безэмоциональностью, которой позавидовали бы многие из машин. Тик. Так. В сущности, он был идеален. О стойкости этого человека следовало слагать легенды, ведь комендант Блохин был и оставался не человеком даже, но спусковым курком.

Однажды Василий Михайлович рассказал мне про своего коллегу из Украины, коменданта Нагорного, — тот перебил почти всю собственную комендатуру — то есть всё свое ежедневное окружение. Воистину сюжет, заслуживающий отдельной театральной постановки! Ты, конечно, лучше в этом разбираешься, милая, но мне кажется, что в его истории была невероятная внутрен-

* В действительности счет будет ничейным. ЦДКА — «Динамо» 0 : 0. Блохин не расстреляет меня — я не кремирую его. Сразу после смерти Сталина, в апреле 1953 года, Василий Михайлович будет отправлен в отставку, а уже в феврале 55-го, не представляя собственной жизни без любимой работы, от тоски и пьянства умрет в центре Москвы. Блохина похоронят на Донском кладбище близ Первого Московского крематория. Палач окажется буквально в одной земле с тысячами им же расстрелянных людей, но с той лишь разницей, что у жертв советских репрессий могил не будет, а Василий Михайлович Блохин получит едва ли не лучшее место у самого входа на кладбище, рядом с монументом бывшему председателю Государственной думы Сергею Андреевичу Муромцеву. Судьба.

няя пружина! Комендант Нагорный из города Киева жил двойной жизнью: по утрам он был занят решением бытовых проблем, выдавал сапоги и ключи, а по ночам, как и многие другие коменданты Советского Союза, становился палачом. Сперва он расстрелял одного знакомого сослуживца, затем второго, третьего. Так, день за днем, украинский коллега Блохина уничтожал людей, которые составляли его ареал. Знакомый комендант — последнее, что видели киевляне в своей жизни. Каково же должно было быть их удивление! Этот маленький человек, которому они так запросто хамили, этот серый простачок, которому они приказывали поскорее выдавать им канцелярские предметы и обещали написать жалобу, теперь вершил их судьбу...

«Вот с кого нужно брать пример! — опрокидывая рюмку, однажды с улыбкой сказал мне Блохин. — И вот почему нельзя хамить таким людям, как я!» — «Никому вообще нельзя хамить...» — добавил я.

Все эти последние годы, милая, возвращаясь домой под утро, я всё чаще ложился в кровать с мыслью о собственном расстреле. Обнимая сына, я представлял, как однажды ночью дуло пистолета коснется моего затылка. «Будет ли оно холодным? Вряд ли, — переворачиваясь с боку на бок, как правило, пьяный, рассуждал я. — Одного меня расстреливать никто не станет — соберут группу, и значит, едва коснувшись головы, ствол обожжет. Впрочем, уже мгновением позже пуля повалит меня на пол, а я толком и не успею испытать особенного дискомфорта из-за перегретого ствола».

Разглядывая потолок, улыбаясь спящему Феликсу, нередко я представлял, как пуля разорвет кожу, просверлит череп и выйдет через глаз или рот. Звучит как финал, я знаю, однако на этот счет у меня имелось иное соображение. Я знал, что даже после расстрела не пере-

стану дышать. Я знал, что, когда палач, пусть это будет сам Блохин, решит нажать на курок, за мгновение до выстрела я чуть дернусь, и это позволит мне выжить. Да-да, милая, я всё рассчитал! Среди всех дневников, которые при обыске изъяли товарищи Козлов и Лягин, расстрелу моему была посвящена едва ли не половина тетрадей — страницы, расчерченные траекториями, пулями и дульными срезами. Думаю, однажды мои расчеты станут истинным лакомством для профессиональных баллистиков, если, конечно, Перепелица не уничтожит их. Впрочем, я не к тому. Я хотел рассказать тебе, милая, что, перерисовывая собственную казнь, я предвосхищал разные планы и устремления пуль, однако всякий раз констатировал один и тот же исход — пульс.

Таков был мой план. Я знал, что в ночь расстрела найду в себе силы сыграть смерть. Вот. Вот она великая роль, о которой другие артисты могли только мечтать! Я не сомневался, что отыграю собственную смерть так, что в нее поверят три главных критика Советского Союза — три сотрудника НКВД. Словно в награду, признавая мой талант, за ноги они вытащили бы меня на внутренний двор и бросили бы к другим трупам в машину. После же, едва грузовик с надписью «шампанское» выехал бы за пределы тюрьмы, я выпрыгнул бы из кузова...

— Смельчака из себя строишь? Думаешь, что первый у меня такой? Думаешь, до тебя тут не было людей, которые заблуждались, что смогут избежать наказания? Ты хоть понимаешь, Нестеренко, сколько мы таких, как ты, перемололи и не заметили?

— В силу профессии догадываюсь...

— И правильно делаешь! Поэтому еще раз объясняю тебе: не нужно производить на меня впечатление, не нужно из кожи вон лезть и стараться показать, что ты смелее или лучше, чем есть на самом деле, просто отвечай на мои вопросы и показывай по существу!

— Как скажете, гражданин начальник...

— Хорошо! На этом мы сегодня прервемся, а в следующий раз ты будешь отвечать четко и кратко, поняв меня?

— Да.

Так заканчивается мой первый саратовский допрос, дорогая. В целом я остаюсь собой доволен. Время выиграно, и толком ничего не прояснено. Я держусь молодцом. О моей шпионской деятельности мы, в сущности, даже не заговариваем. Индия, кремация, Маяковский — все это к делу не приобщить. Перепелица только начинает расставлять капканы, но пока — чаще сам цепляется за мои крючки. Правда в том, моя милая, что у нас с ним разные цели: он должен убить меня, я же намерен убивать время. Благо, в этой игре у меня есть некоторый опыт. Я собираюсь отнекиваться до тех самых пор, пока следователь не удостоверится в моей невинности — это и есть мой план «А». Впрочем, план «Б», как ты уже поняла, у меня тоже имеется...

ДОПРОС ВТОРОЙ

— Начиная показывать, как ты был завербован вражеской разведкой!

— Вражеской разведкой я завербован не был. Обвинения ваши решительно отвергаю!

— Нестеренко, да на тебе клейма негде ставить! Мы же знаем, что ты на кого только не работал!

— Это другое...

— Другое?!

— Да! Да, действительно, в силу обстоятельств и исторических кульбитов мне иногда приходилось работать на многие государства, но никогда, слышите меня, гражданин начальник, никогда я не работал против Советской страны, и даже наоборот!

— Упираешься, значит, опять с самого начала, да?

— Сотрудничаю со следствием...

— Хорошо, тогда мы сегодня — благо позволяет время — начнем издалека...

— Из самого далекого далека?

— Из самого! Давай, начинай подробно показывать мне, где и в каком качестве ты служил в период с 1915 года...

— Опять?! Но я ведь уже рассказывал об этом в Москве!

— Но не мне ведь, верно?

— Да, но...

— Показывай давай, но не быстро — сам видишь, я сегодня один...

— А где, кстати, наша дорогая машинистка?

— Приболела...

— Понятно...

— Понятно ему — я говорю, показывай, давай!

— Прямо с 1915 года, опять?

— Да...

— Ага... Хорошо... Показываю... Значит, в 1915-м я находился на фронте, командовал ротой 33-го стрелкового Сибирского полка...

— Сибирского полка...

Пока он пишет, признаюсь тебе, милая, что военным я быть никогда не хотел. Думаю, слова эти теперь немало удивят тебя, но это правда. Ты не поверишь, но едва ли на свете была вещь, которая страшила меня больше службы в армии. Время стирает все, я теперь предельно иной человек, и все же, если только воспоминания не обманывают меня, то там, далеко, в детстве, я был мальчиком тихим, скромным и всецело увлеченным природой. Не знаю, так ли это, но ведь ты лучше помнишь меня...

Ты помнишь, милая, как, пропадаю в лесу целыми днями, я мог подолгу изучать лягушек, насекомых и птиц? Кажется, всякий раз я делал это осторожно, чтобы ни в коем случае никому не навредить. Я знаю, после всего, что я рассказываю, теперь даже тебе, наверное, в это сложно поверить, но в детстве я был человеком совсем иным — я рос ребенком любящим, открытым и трепетным.

Помнится, однажды во время охоты отец заметил, что я глажу подбитого им зайца. Вместо того чтобы обнять меня, папенька приказал добить зверя. Я выкрикнул что-то грубое, совершенно мне несвойственное,

и убежал. Поведение мое отец счел малодушным. Не грязные слова, но слезы мои его оскорбили. Ему вдруг стало очень жаль себя...

С того дня он принялся воспитывать во мне мужчину. Едва ли не каждый день отец устраивал мне «проверки на смелость», которые я то и дело проваливал. Для чего нужно было с риском для жизни прыгать через глубокие овраги, забираться на высокие деревья и заниматься с гантелями, я решительно не понимал. Не знаю, помнишь ли ты то время, милая, но несколько раз в неделю он ставил меня боксировать с сельскими парнями, которые, понятное дело, были гораздо старше и крепче меня. Раз за разом эти здоровенные детины натурально избивали меня. Едва я падал на землю, папенька принимался называть меня слабаком и даже бабой. Его строгость и нарочитая мускулистость меня не закаляли, но, напротив, только отпугивали. Так мы и ходили по кругу, пока однажды после шести классов Николаевского реального училища, как ты хорошо помнишь, он не принял решения отправить меня в юнкерское училище.

«Жизнь не будет баловать тебя, Петь. Ты не должен щадить себя! Ни себя, ни окружающих. Если только однажды пожалеешь себя — все, считай, ты щенок, а не человек! Если же я узнаю, что учишься ты хуже других или, что еще хуже, опозорил ты нашу фамилию трусостью — богом клянусь, Петр Ильич, на порог этого дома я тебя не пущу, но прилюдно, здесь вот перед всем миром до смерти высеку!»

Так я был отдан в Одесское пехотное юнкерское училище, где еще долгое время, слыша краткое «Петь», пугался, улавливая в этом слове «плеть», что нередко появлялась в руках отца.

С первых дней в училище я решил, что стану военным не менее известным, чем герой Порт-Артура Марк Тапсашар. Ежечасно перебарывая собственный страх,

в единственном желании оправдать надежды отца и покорить тебя, я то и дело ввязывался в кулачные бои со сверстниками, делая это для того только, чтобы продемонстрировать отсутствующее мужество. Я атаковал прежде всего самого себя, выбивая из собственного сердца доброту, открытость и нежность, которые, должен признаться, в этом веке мне действительно не пригодились. Выходит, я должен поблагодарить отца...

— Продолжай!

— В середине января 1915-го я получил тяжелое ранение, и меня эвакуировали в лазарет в Ломжу.

— Что это за Ломжа?

— Хорошее местечко. Пара заводов и фабрик, два рынка и театр. Публичная библиотека, мужская и женская гимназии, три костела, жаль только, что всей этой красоты я так и не увидел, гражданин начальник, потому что лежал в госпитале...

— Ты не тараторь, а продолжай показывать о войне!

— Так, а что показывать-то?

— Как всё было, показывай!

— А как всё было?

— Нестеренко!

«Показывай, как все было!» А как всё было? Понятно же как... Тонкая карточка в библиотеке воспоминаний — легко порезаться. Говорить о войне мне, конечно, не хочется. Всю свою жизнь я стараюсь ее забыть, а он...

Война эта была нужна папеньке и людям вроде него, но не мне. Жертвоприношение на алтарь отцовских глупостей. Получив ранение, я был так горд собой! Наивный, я ожидал лишь того дня, когда смогу приехать домой и, указав на заштопанную шею, предъявлю отцу собственную храбрость, но когда это в действительно-

сти произошло, я услышал лишь несколько холодных, пронизанных несправедливыми упреками вопросов:

«Разве война закончилась? Если ты смог приехать сюда — значит, чувствуешь себя хорошо! Решил пересидеть, пока другие твои товарищи сражаются?! Боишься возвращаться на фронт? Никогда не думал, что воспитаю труса!»

Неужто и правда ожидает теперь товарищ Перепелица, что расскажу ему обо всем с самого начала? Разве и вправду думает он, что начну описывать, как на войну эту мечтал попасть, как бредил вернуться в отпуск с Георгиевским крестом? Всерьез ли он сейчас надеется, что стану описывать вокзал, заполненный странными людьми, которые преступно подбадривали нас? Какого он года? 13-го? 15-го?

Когда началась война, ему, гаденышу, наверное, не было и пяти. Что он может помнить о той войне, что знать? Торжество смерти, праздник мертвеца — вот что это была за война! Век только начинался, а все идеалы уже были разрушены. Что ему рассказывать, если он никогда не сможет понять, что над целым континентом висел трупный запах...

Всё еще молча разглядывая Перепелицу, я вспоминаю теперь, милая, как поезд буквально сбежал с вокзала, на котором всё ярче и яростнее раздувался духовой оркестр. Люди заходились в смертельном экстазе, однако стоило составу покинуть город, как тотчас наступила страшная тишина. Безумное счастье вмиг выветрилось. Беззвучие вагона потрясло меня. Казалось, я не слышу даже стука колес. Все вокруг молчали. Никто больше не шутил, не смеялся и не пел гимнов. Тишина была такая, что ее можно было потрогать руками. Лишь единожды, в день, когда в 1920 году мы покидали Крым, после последней перед исходом молитвы (уверен, ты ее помнишь), я услышал подобное безмолвие. Скорбь, которую

не нарушал ни плач ребенка, ни лай собаки, ни карканье воронья. Так неужели и правда думает этот Перепелица, что сейчас я стану рассказывать, как смотрел в тот день на юных однополчан и осознавал вдруг, что никаких оркестров в моей жизни больше не будет?

— Нестеренко, ты что, уснул? Последний раз тебе говорю, показывай мне о войне!

— Так а что тут показывать-то? Будто вы и сами не знаете, до чего же скотская она была...

— Без обобщений! Рассказывай мне о своем участии!

— О моем? А что тут скажешь... такое же, как и у всех, у меня было участие...

Уже в первые дни бойня эта меня натурально ошаршила. Думаю, что в действительности это было мое первое настоящее потрясение, гражданин начальник. Ни к чему подобному я, конечно, совершенно был не готов. Я думал, что война эта будет такая же красивая, как на картинках, как в книгах, как нам рассказывали в училище, но едва боевые действия начались — фронт тотчас превратился в проходной двор. Текучка кадров оказалась колоссальной! Приехал — погиб, приехал — погиб, погиб, погиб, погиб...

Война — первый великий музей, который я посещаю в своей жизни. Музей анатомии. Обширнейшая, богатыейшая коллекция, что обновляется каждый день. Миллионы экспонатов! Разрубленные вдоль и поперек тела, вскрытые и разорванные легкие, торчащие кости и разбросанные кишки. Руки, головы, ступни и черепа. Меня особенно впечатляют зрачки, по которым ползают мухи...

— В те дни, гражданин начальник, мне казалось, что солдатам всех держав проще было бы ложиться в братские могилы уже в своих собственных городах. Вот

проснулся ты утром, вышел в огород, могилу выкопал и слег. Да краше бы даже с братом. Поступай мы так — это избавило бы всех нас от бесконечных переходов, ночей в мокрых окопах и компаний бесчисленных крыс. Знаете, гражданин начальник, Николай Федоров как-то написал, что бессмертие возможно только в том случае, если воскресить мертвых. Как это сделать, мы тогда, конечно, не понимали, но трупов для будущего великого воскрешения заготавливали с лихвой...

— Кто такой Николай Федоров?

— А, забудьте, гражданин начальник, — это уж точно к нашему делу не имеет никакого отношения...

— Не тебе, Нестеренко, решать, что имеет отношение к твоему делу, а что нет!

— Да уж, конечно, не мне — я понимаю. В общем, я могу с уверенностью сказать только, что война эта разрушила мой привычный мир, всё мое нехитрое понимание вещей. Вмиг буквально мир мой разлетелся на куски! Бах! Бах! Бах!

— Нестеренко, потише, ты не в театре!

— Да-да, простите...

— И не нужно мне тут делать таких длинных пауз!

— Ну вы же просто сами сказали мне, что записывайте... — Ты не волнуйся, всё, что необходимо, я запишу!

— Тоже верно. В общем, подытоживая, можно сказать, что уже в первые дни закрылись все мои фабрики скорби и обанкротились мануфактуры горя...

— Нестеренко, я же тебя предупреждал: ты не Маяковский — не нужно мне здесь поэзии!

— У вас там клякса...

— Нестеренко!

— Да не поэзия это никакая, а чистая проза — проза жизни, точнее и не описать! Со мной случилась вдруг такая колоссальнейшая минимализация чувств, понимаете, гражданин начальник? Я вдруг осознал, что уже

в первые дни, попусту совершенно, вхолостую буквально растратил и грусть, и печаль, и сострадание...

— К чему ты ведешь?

— Я веду к тому, гражданин начальник, что был немного не таким человеком, как сейчас...

— Нестеренко!

— Раз уж вы меня спросили — я веду к тому, что там, на войне, уже в первые дни что-то во мне навсегда изменилось, что-то вдруг закончилось, и в связи с этим, когда все мои склады сопереживаний опустели, я перестал оплакивать однополчан и начал смеяться...

— В смысле?

— В прямом! Я помню, что уже в один из первых боев, скованный ужасом, потеряв рассудок от страха, я стоял и ржал во все горло. Нет, правда, я ржал как жеребец! Не человек, но памятник безумию! В ушах звенело, а я не слышал ни приказов, ни свиста пуль, ни даже разрывов снарядов! Я стоял только на месте и смеялся во весь кадык!

— Почему?

— Да потому что все это было ужасающе смешно! Безумие, форменное безумие! Уходя на фронт, я обещал отцу и Вере, что буду бесстрашным, а тут такое бессмысленное веселье...

— Что еще за Вера?

— Да неважно теперь...

— Может, мне повторить вопрос?

— Да правда неважно! Девчонка, которая меня провожала. Мы с ней жили в одном селе, всегда держались друг друга. С самого детства рука об руку ходили. Я ей мужем обещал быть, а она мне женой. Очень, кажется, тогда любили друг друга. Много лет письма друг другу писали, она в Одессу ко мне приезжала, я возвращался в село. Я ей обещал стать генералом, а она мне — самой известной в России актрисой. Мы всегда почему-то были

уверены, что очень важная у нас будет семья, что я, весь в орденах, буду приходить в театр, чтобы наблюдать за ее блистательной игрой. Вера так хотела стать актрисой... Я так хотел ей помочь... Я знал, что из меня ничего особенно не выйдет, ведь быть солдатом, если честно, я никогда не хотел, а она... Она так хотела на сцену, так стремилась к этому всю жизнь, что мне очень хотелось ее поддержать!

— Нестеренко...

— Затем, когда прощались, считай, взрослые уже, пальцы мои вот эти целовала, каждый ноготок, подушечку каждую, щеки, веки, как из пулемета строчила по мне любовью, гражданин начальник, да все обещала, что будет ждать...

— И что же? Не дождалась?

— Да длинная история...

Нового вопроса о тебе следователь почему-то не задает. Перепелица вдруг сам берет паузу и замолкает. Дознаватель скалится и внимательно смотрит на меня. Хотя, подобно Ноеву ковчегу, саратовский «титаник» набит самыми диковинными тварями, думаю, он признается себе, что среди прочих перед ним сидит редкий экспонат. Да, пускай я не такой исключительный, как, например, мой сокамерник Вавилов, и да, возможно, не столь запутанный, как похититель генерала Кутепова Яков Серебрянский (дело которого Перепелица тоже вел), и всё же со мной товарищу следователю придется повозиться. Впрочем, Перепелица прекрасно понимает, что и как ему нужно делать:

Допрос — процессуальное средство получения и проверки доказательств. Действенное средство воспитательного воздействия на допрашиваемого. По своему характеру, допрос — действие многоплановое и сложное.

Оно имеет процессуальный, криминалистический, организационный, психологический и этический аспекты. Сложность допроса заключается в кажущейся его простоте. Квалифицированное производство допроса требует не только знания закона и творческого его применения, но и житейского опыта, умения интерпретировать и варьировать различные меры воздействия на личность с учетом индивидуально-возрастных ее особенностей.

Допрос — это искусство, требующее высокого мастерства и способностей.

*Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности
Прокуратуры Союза ССР*

— А ты веришь в бога, Нестеренко?

— Арапа толкаете?

— В бога ты веруешь, спрашиваю?!

— Я?

— Нестеренко, здесь больше никого нет!

— Так, значит, и бога нет, коли никого нет.

— Нестеренко!

— Ну и вопросыки у вас сегодня, гражданин начальник! Уж не заболели ли вы? Или, может, я чего не знаю? Немцы уже в Саратове? Возводят кирхи? Вот, наверное, к любому вашему вопросу я был готов, да уж только не к этому. Кому потом буду рассказывать, что в ноябре 41-го следователь Перепелица заговорил со мной о боге, так уж точно никто и ни за что в такое не поверит! Скажут — не бывает подобного в природе, Петя!

— Тебе никому не придется об этом рассказывать — не беспокойся!

Тоже верно. Коли расстреляют, то и не придется, только я ведь не умру! В этом смысле на мой счет следователь Перепелица ошибается. Сидит, лыбится, думает об утре,

когда подойдет и отправит расстрельный список в любимую Москву. Там его кто-нибудь важный подмахнет, конвертик вернется — и поведут меня подземным этажом в специально оборудованную камеру, где всё так заделано, что ни человек, ни правда, ни даже звук оттуда сбежать не могут. Не потому ли сидит теперь такой довольный, что уже знает, знает наверняка, гнида, что пулю пустят в меня?

— Что, Нестеренко, трусишь?!

Впрочем, более походит на то, что он только начинает. Разминается гад, косточками хрустит. Дело понятное — прежде чем прикончить меня, хорошо бы разоблачить шпионскую сеть. В идеале славно бы объединить да расстрелять человек десять-пятнадцать, ведь это позволит ему претендовать на ведомственную дачу по возвращении в Москву.

— Вижу, что трусишь, вижу! Так а что, когда трусишь, богу разве не молишься?

— Да конечно нет!

— А как же мне быть с тем, Нестеренко, что я вот тут смотрю, а у тебя при обыске изъята книга о штундистах?

— Так ведь просто о явлении книга... так сказать, чтобы знать врага в лицо...

— А родители твои разве не были штундистами?

— В наших краях многие штундистами были...

— А они что же?

— А они нет...

— А ты?

— А я в бога не верую...

— Почему?

— А потому, гражданин начальник, что с самого рождения, может, сам того не сознавая, советским человеком являюсь...

— Нестеренко!

— А я правду вам говорю! Знаете, где во время войны у нас отхожее место было?

— И где же?

— В полевой церкви...

— Почему именно там?

— Да потому что смрадное это место! На войне храм не нужен. Кругом коррупция, стукачи, солдаты дохнут миллионами попусту, а тебе мастерят полевую церквушку и предлагают в ней время от времени, дожидаясь собственной смерти, молиться. Да только кому молиться, гражданин начальник, кому?!

— Значит, не веришь?

Верю.

В действительности в бога я верю, причем с ранних лет. Дело не в том, что так же поступают несколько поколений моей дворянской, а значит, начисто лишенной фантазии семьи, — дело в том только, что довольно рано я начинаю испытывать потребность быть благодарным. В сущности, бог нужен мне только для того, чтобы его благодарить. Много лет спустя, в Париже, я узнаю, что в моменты счастья французы любят кричать: «*Merci la vie!*», — но до Парижа мне еще столько всего предстоит пережить...

Ты наверняка помнишь, милая, что в наших краях простые мужики иногда охотились ямами. В реке сети — в лесу «пасти». Ямы эти покрывали еловыми ветвями, вбивая на дне острые колья-кльки. Однажды утром, подначиваемый тобой, я сбежал в лес играть в прятки и уже спустя полчаса, оступившись, полетел вниз. Надеюсь, ты не забыла, что в день тот — против всякой логики — мне удалось приземлиться аккуратно между заостренных колев. На теле моем не было ни одной царапины! Носом шла кровь, но не от удара, а от страха. Уже через мгнове-

ные там, наверху, я увидел твое лицо! Ты звонко рассмеялась и как черный дождь высыпала на меня собранную чернику. В то утро ты улыбнулась и побежала за взрослыми, которые были так удивлены моим невероятным спасением, что даже не стали наказывать меня.

Кажется, в тот день я впервые перекинулся несколькими словами с богом. Стоя посреди деревянных когтей, детским смешным голосом я благодарил его: «Боженька, спасибо тебе за то, что спас меня! Спасибо и... Ты не будешь против, если я расскажу маме и папе, что с обрыва на меня смотрели и волк, и медведь, и змея? Ты не накажешь меня?»

С того самого дня я всегда говорил богу спасибо. Еще не зная, что благодарить можно просто жизнь, я старался быть признательным за каждый прожитый день. Проходил год, два, заканчивались отрочество и юность, но, несмотря ни на что, я сохранял в себе это желание быть благодарным — не родителям, не людям, но ему. Даже много лет спустя, когда, казалось бы, ни о какой вере больше не могло идти и речи, я благодарил всевышнего за возможность выпить гранатовый сок в Константинополе или за необязательную прогулку на велосипеде по Белграду, за один только шанс пролететь над Гатчиной или за ту невероятную скорость, с которой каждую ночь я входил в один и тот же поворот на ночной улице Парижа. Я был благодарен ему за возможность вернуться на Родину и, конечно, за то, что в самые сложные моменты жизни, словно заканчивая игру в прятки, в моей жизни опять и опять появлялась ты, Вера.

— Значит, ты утверждаешь, Нестеренко, что был против антинародной войны, развязанной царем и его припешниками?

— Конечно! Уже в первые дни я понял, что никаких четырех месяцев, которые все отводили на выяснение

отношений между большими державами, не будет. Мне почти сразу стало очевидно, что разворачивается великая бессмысленная и бесконечная катастрофа!

— По-твоему, в той войне не было смысла?

— А какой в ней был смысл? Какой вообще во всех этих боях смысл, если проходит сто лет, и никто даже не вспоминает ни когда, ни из-за чего война началась? Для чего, например, солдаты отдавали свои жизни, если на территории Советского Союза нет ни одного памятника погибшим в великой войне?!

— Памятников нет, потому что нельзя увековечивать неправильную войну. — А жизни солдат?

— А значимость солдатской жизни тоже преувеличивать не стоит. Тебе ли не знать, что всякий рядовой должен идти и сражаться!

— Неплохо рассуждать об этом, сидя здесь, в Саратове, верно, гражданин начальник?

— Нестеренко, поосторожнее! Во время войны каждый делает свое дело. К сожалению, враг не дремлет — наша страна наводнена шпионами, и мне поручено разбираться с такими, как ты! Если партия прикажет мне отправиться на фронт — я отправлюсь!

— Я своей стране не враг...

— Поверь, Нестеренко, я сумею это доказать! Рассказывай лучше, как ты был ранен...

— В бою...

— Рассказывай, говорю!

— Так а что рассказывать?

— Как ты был ранен!

— Как и в любой другой раз загремело, зашелестело, пошли удары и...

— Нестеренко, мы сейчас закончим допрос, и поверь мне, ты очень об этом пожалеешь!

— Ладно-ладно вам... порезало осколком меня...

С самого утра стеной стоял грязный туман. Всё теперь было одно — небо, земля. Испепеленная простыня. Первая одинокая пуля разорвала ее и пролетела в метре от меня. Будто насекомое с полным брюшком свинца, она устремилась куда-то дальше, в лагерь, где, словно скорбные цветы, опылила первое сердце. Смертью. И начался бой. То тут, то там засвистели вдруг выпущенные жала, и уже спустя мгновение раздался взрыв. Содрогнулась планета. Мне бы стоило спрятаться, свернуться калачиком в окопе, но какая-то неведомая сила заставила меня вылезти из ямы, и едва я встал на ноги, что-то вскрыло мне горло...

— Где порезало?

— Вот здесь, видите? Когда это случилось, я уже мало что соображал. Брызнула кровь, и, повалившись на землю, я двумя руками схватился за шею. Помню только, что я смотрел в небо, а деклассированные впоследствии ангелы пели мне:

Постой, не уходи!

Мы ждали лета — пришла зима.

Мы заходили в дома, но в домах шел снег...

В наших глазах крики «Вперед!»,

В наших глазах окрики «Стой!»

В наших глазах рождение дня и смерть огня.

— Нет никаких ангелов, Нестеренко, продолжай показывать по существу!

— А бог?

— И бога, конечно, тоже нет! Продолжай, говорю, показывать!

— А про что показывать-то?

— Про то, что было после ранения!

— После ранения, как я уже говорил, был госпиталь. Впрочем, не думаю, что вам будет особенно интересно слушать об этом...

— Ты рассказывай, а я сам решу, что интересно, а что нет!

— Воля ваша, гражданин начальник. Госпиталь — это был такой склад обрубков. Лишние и бесполезные люди. Целыми днями все только и делали, что читали «Русский инвалид» и задавались ненужными вопросами: «А почему они публикуют только офицерские списки? А почему они не пишут о простых рядовых?»

— А почему они не писали о них?

— А кому они были нужны?! Вы же сами только что сказали, что не следует переоценивать значимость солдатской жизни. Так, единица...

— Ты не философствуй, а продолжай показывать относительно времени, проведенного в госпитале!

— В госпитале, говорю же, я по большей части спал. Тут нужно сказать, что больничные сны я не очень-то любил, но...

— Нестеренко!

— Да вам будет интересно! Дело в том, гражданин начальник, что уж слишком часто я видел незахороненных солдат, понимаете? Мертвецы шагали мне навстречу, а я смотрел на них и всё думал: а чего это, мил люди, вы идете именно ко мне? Окровавленные, рота за ротой, полк за полком, с запекшейся кровью на лицах, эти уродцы, кто без глаза, кто с раздробленным черепом, шагали полями, плелись замерзшими реками и хором повторяли одни и те же слова: «Братец, Петя, похорони нас! Захорони нас, милый!»

— Ты поэтому решил работать в крематории?

— Почему поэтому?

— Потому что тебя атаковали мертвецы?

— Да нет, что вы! Между войной и крематорием ведь еще столько всего случилось...

— Но ты ведь когда-то выбрал эту работу?

— Работу эту я не выбирал — уж скорее она меня нашла...

— Это как же?

— Это так же, что в 1926 году, по возвращении из Парижа в Москву, я долго не мог никуда устроиться. Как ни просился я, к летной службе, да даже к обслуживанию самолетов меня не допускали. В конце концов, с биографией моей крематорий стал единственным шансом начать новую жизнь...

— А почему эту должность предложили именно тебе? Уверен, в Москве многие хотели бы быть директором крематория...

— Думаю, меня выбрали потому, что я знал иностранные языки и умел обращаться с техникой...

— Зачем при работе в крематории знать иностранные языки?

— Как это зачем? Не забывайте, что мы строили крематорий с нуля. Нам помогали иностранцы...

При слове «иностранцы» Перепелица оживает. Предплечье молодого следователя вздрагивает и готовится внести «нужные» показания. На старт, внимание, марш!

— Какие иностранцы помогали тебе при строительстве Первого Московского крематория?

— Немцы.

— Кто именно?

— Компания «Топф и сыновья»...

— А где они сейчас? В Москве?

— Хотите загresti? Неужели их не было в ваших списках?

— Где они, спрашиваю!

— Поздно, гражданин начальник, уж много лет как вернулись в Германию...

— Связь у тебя с ними есть?

— Никак нет, гражданин начальник.

— Письма? Посылки?

— Нет.

— Чем они там сейчас, по-твоему, занимаются?

— Топфы?

— Да.

— А мне почему знать?

— Предположи!

— Разве предположение можно приобщать к делу?

— Я спрашиваю тебя, Нестеренко, чем они там сейчас, в Германии, по-твоему, занимаются?!

— Смею полагать, гражданин начальник, что, как и вы, трудятся на благо своей страны!

— Ты меня, гнида, с фашистами не сравнивай!

— А чем вам фашисты-то не угодили? Мы вроде как до недавнего времени были союзниками, на одной стороне вступили в войну. Польшу вместе раздербанили, или я что-то путаю?

— Отвечай на мой вопрос: чем, по-твоему, теперь эти Топфы там заняты?

— Если сейчас немцы начинают решать еврейский вопрос, а сложно придумать время более подходящее, думаю, что на печи, которые производит «Топф и сыновья», имеется большой спрос...

— Почему?

— Потому что сжигание тел умерших противоречит традициям иудаизма. Считается, что кремированные евреи не смогут восстать из могил по призыву бога. Вряд ли фашисты устоят перед таким соблазном насолить жидам...

— Нестеренко! Я тебе серьезный вопрос задаю!

— Ну а если серьезно... Не мне вам рассказывать, что крематорий — вещь чрезвычайно практичная. Не ссыпай я каждую ночь пепел расстрелянных в яму — сколько бы кладбищ вам понадобилось бы, а? Если допустить, что Германия поступает с врагами нации так же, как и мы, без работы «Топф и сыновья» точно не сидят.*

— Хорошо, с немцами понятно, но почему все-таки именно тебя, бывшего белогвардейца, летчика, назначили первым директором Московского крематория?

— Говорю же, потому что я знал языки, к тому же к этому времени уже был немного знаком с кремационным делом.

— Откуда?

— Много читал об этом.

— С чего вдруг такой интерес?

— Когда я жил в Париже, комната моя находилась рядом с кладбищем. В свободное время, особенно в выходные дни, от нечего делать я любил наблюдать за тем, как работает местный крематорий.

— Просто так? По собственной воле?

— Именно.

— Но это ведь неправда, Нестеренко!

— Чистая правда, гражданин начальник...

Я не вру. Как ты знаешь, милая, в Париже я оказался уже после эвакуации из Крыма, концентрационного

* В предположениях своих я не ошибаюсь. Компания «Топф и сыновья» не только помогает в устройстве Первого Московского крематория, но и впоследствии занимается проектированием и строительством крематориев для нацистских лагерей смерти. Так, например, наряду с крематориями компания устанавливает в Аушвице вентиляционную систему для распространения отравляющего газа.

лагеря в Галлиполи и безрезультатных попыток начать новую жизнь в Варшаве и в Софии. 34-летний мужчина, переживший ранение и революцию, Гражданскую войну и авиапроисшествие, долгое время я не мог найти работу. Как когда-то в Турции, я был вынужден скитаться по городу и соглашаться на всё, что только подвернется. Тяжелые смены на заводах «Ситроена» и «Рено» казались подарком, предложение работать таксистом — величайшей из удач. О подобной работе можно только мечтать, ведь теперь я мог снимать крохотную комнату, единственное окно которой выходило на крематорий. Каждое утро, перед тем как лечь спать, бывший русский офицер, я заваривал себе чай и, очищая яйцо, смотрел на кладбище. Это был не самый живописный, как ты помнишь, но все же умиротворяющий зольный вид. Забираясь в кровать, еще не представляя даже, что однажды мы окажемся в ней вместе, я понимал, что в этот самый момент парижский крематорий начинает новый день, превращая человеческие беды в пепел.

— Ладно, допустим. К Парижу и общению с иностранцами мы еще вернемся. Продолжай показывать, что было после госпиталя.

— После врачебной комиссии я побывал дома. Затем был направлен в Военную воздухоплавательную школу, которую окончил в конце января 1916 года. Далее, к радости отца, вновь был отправлен на фронт.

— Куда именно?

— В 21-ю воздухоплавательную роту под Барановичи.

— Сколько пробыл там? — Месяца два-три...

— А потом?

— А потом я стал командиром отряда при 3-м Кавказском армейском корпусе...

— Сколько прослужил в этой должности?

— В этой должности я служил до конца апреля 1917 года, и в этом же году командованием авиации был направлен в город Гатчину, в военную авиационную школу на учебу. Школу окончил в конце 1917-го, приблизительно в октябре месяце...

— Почему ты решил летать?

— Да как-то буквально за пару лет понял, что хочется быть подальше от земли...

— Хохмишь все... Ладно, и чем ты там занимался, в этой самой Гатчине? — Занимался тем, чтобы учебно-летное дело не ослаблялось...

— Это как понимать?

— Поддерживал дисциплину и боевой дух...

— Поддерживал дисциплину?! Боевой дух?! Ты, очевидно, выполнял роль приспешника правительства Керенского и проводил ревностную активную работу среди солдатских масс, верно, Нестеренко?!

— Да какую ревностную работу?! Вы хоть представляете себе, с каким контингентом мне приходилось работать? Я считал, что лиц, пригодных к летной службе, надо было доучивать, так как в среде допущенных к полетам были унтер-офицеры, механики и мотористы, которые при царском правительстве к обучению в авиационных школах не допускались...

— Следовательно, ты являлся лицом из привилегированной среды, которая ранее допускалась, правильно, Нестеренко?!

— Выходит, что так...

— Вот и твой первый проколычок, Петр Ильич! Вот я тебя и подловил! Говорил ты говорил, болтал-болтал да проговорился! Иногда нужно дать преступнику немного времени, чтобы наследить, верно? Объясни-ка мне, как такое могло случиться? Как же так получилось, что тебя в авиационную школу допустили? Кто же ты тогда по со-

циальному происхождению, если, в отличие от других, допускался?

— По социальному происхождению я...

— Ну?!

— Дворянин...

— Вот оно как?! Могильщик-дворянин! Нестеренко, а почему же раньше об этом не рассказывал?

— Так ведь меня об этом и не спрашивали...

— Серьезно?! Всё заpiresательством занимаешься?! Вот, взгляни, за твоей подписью... На допросе от 24 июня в Москве ты показал, что отец твой по социальному происхождению является железнодорожным служащим. Сегодня же ты вдруг заявляешь, что происходишь из семьи дворян. Чем объяснить такого рода противоречивость в твоих показаниях, а?

— Я тогда забыл...

— Как это забыл?

— Вследствие сильной болезни — головной боли, я не добавил тогда на допросе, что отец мой был дорожный мастер из дворян...

— Нестеренко, тебе самому это не надоело, а? Мне вот сегодня уже да...

— А разве вы, товарищ следователь, никогда ничего не забываете?

— Никогда, Нестеренко, никогда!

— Везет вам...

— Продолжай показывать и постарайся больше ничего не забывать! Где тебя застала Октябрьская революция?

— Октябрьская революция, гражданин начальник, застала меня в названной школе в Гатчине, где я числился пилотом на тренировочных полетах. 25-го числа того месяца к нам пришел кронштадтский отряд матросов, главным образом с броненосца «Петропавловск».

По предложению Гатчинского горсовета меня назначили начальником гарнизона.

— Сколько ты пробыл в этой должности?

— В этой должности я находился до 19 декабря 1917 года — то есть до момента отъезда филиала Гатчинской школы на Харьковский аэродром...

— А почему вы уехали в Харьков?

— Потому что хотелось еще немного пожить, гражданин начальник...

— А чего же ты опасался?

— Матросов...

— Показывай подробнее, чтобы я всё четко понимал!

— 25 октября 1917 года, около 10 часов утра, в здание Петроградского государственного банка явилась полурота запасного гвардейского полка с представителем новой власти Совета Народных Комиссаров — комиссаром Ланге. С их приходом стало очевидно, что большевики пришли брать власть. В тот день я решил побродить по улицам Петрограда и прощупать атмосферу. Невский был наводнен патрулями из матросов, везде стояли заставы, не пропускающие никого ни к Главному штабу, ни к Зимнему дворцу.

— Дальше!

— На следующий день, 26 октября, проходя по улицам, я встретил матросские отряды и броневые машины. У Зимнего дворца стояла толпа земных форм...

— Каких еще земных форм?

— Ну люди всякие не самые умные, но с ружьями...

— Дальше!

— Возвращаясь обратно по Невскому, я увидел группу зевак, разглядывающих какие-то небольшие красные и однотипные афиши. Подойдя поближе, я прочел призыв крушить Керенского и брать Гатчину...

— Продолжай!

— Прочитанные афиши сразу сориентировали меня в происходящих событиях. Я решил немедленно ехать в Гатчину, где еще представлялась возможность борьбы с новыми захватчиками власти...

— С кем, с кем?

— На тот момент — с новыми захватчиками власти...

— Ну и как, получилось у тебя?

— Для чего вы спрашиваете, если сами знаете ответ?

— Ладно, продолжай!

— К 10 часам утра 28 октября, уже в Гатчине, я застал необыкновенно многочисленное собрание офицеров, преимущественно Гатчинской авиационной школы. Генерал Краснов и его начальник штаба находились в тот момент на боевом участке, в 12 верстах южнее нас, где в бой были введены пять спешенных казачьих сотен и одна горная батарея. Со стороны противника было около четырех тысяч отборных петроградских рабочих, бывших солдат и, кроме того, эти самые безумные матросы. Боевыми действиями большевиков, если я ничего теперь не путаю, на тот момент руководил командующий Петроградским военным округом подполковник Муравьев...

— И как происходил бой?

— Казаки держались очень стойко, однако после трех суток боя перестали верить, что пехота подойдет им на смену, и начали настаивать на отдыхе. 29 октября было решено отвести казачьи части в Гатчину...

— А где в это время был ваш великий Керенский?

— Керенский в это время часто показывался в оперативном отделении, где старался уверить всех нас в общем благополучии положения. Как попугай, он постоянно повторял, что пятьдесят ударных батальонов сняты с Северного фронта и двинуты на выручку Временного правительства, в доказательство чего показывал какие-

то телеграммы. Насколько я понимаю, из Пскова действительно непрерывно, эшелон за эшелон, подошли к Луге ударные батальоны, однако недремлющий Лужский совдеп хорошо делал свое дело. Агитаторам не потребовалось прилагать больших усилий, чтобы убедить простых мужиков не участвовать в бойне. Коротко говоря, никто так и не пришел нам на помощь...

— Ясно. И что было дальше?

— Дальше, 29 октября, днем, офицеры Гатчинской авиационной школы, собравшись в столовой на аэродроме, обратились ко мне как председателю суда

Общества офицеров с вопросом, что им делать дальше...

— И что же ты им на это ответил?

— На это я им ответил, что когда, с одной стороны, все боятся расправы большевиков-матросов в случае их удачи, а с другой — никто не желает вновь видеть у власти Керенского, — каждый должен быть там, где ему подсказывают долг и честь офицера; лично я, а со мной и многие боевые офицеры решили тогда сражаться с большевиками.

— Глупое решение, верно?

Верно, только мог ли я поступить иначе. Принимая это решение в минуты, когда следовало действовать здраво и мудро, закрыв глаза, я все еще зачем-то советовался с отцом... Самый испорченный в мире телеграф!

Действовать сложно. Я все еще пытаюсь угадать мысли отца. Как бы он поступил на моем месте? Что сказал бы, если бы узнал, что я не дал большевикам бой?! Как я смогу посмотреть в глаза собственному отцу, как смогу говорить с ним, если надо мной вечно будет светиться малодушия нимб?

— Я оправданий себе не ищу, гражданин начальник, в решении этом давно раскаялся, и, если необходимо, раскаяние это могу повторить...

— Ладно, рассказывай, что было дальше!

— Все того же 29-го числа штаб генерала Краснова перестал существовать. Переутомленный трехдневным сидением на боевом участке, Краснов переехал в Гатчину и расположился во дворце. Часов в пять он собрал всех офицеров (человек двести) и обратился к нам...

— Что он вам сказал?

— Что же вы перебиваете-то все время, гражданин начальник? Можно подумать, что я бы вам и сам не рассказал?

— Отвечай давай!

— Он поблагодарил нас за готовность и искреннее желание помочь делу, однако тотчас констатировал, что все кончено.

«С этого момента, — заявил Краснов, — надо считать, что России нет, Великая Россия будет разрушена борьбой политических партий, и, вероятно, не останется камня на камне. Все будет разрушено — будут уничтожены целые города, и вот только после этого на развалинах разрушенной Старой России будет построена новая, еще более великая, Молодая Россия...»

— Как офицеры отреагировали на эти слова?

— Да никак. Генерал закончил, и все уныло разошлись — сложно как-то правильно действовать, когда на твоих глазах рушится империя, верно?

— Все разошлись, а ты?

— Придя из канцелярии во дворец, я узнал, что Гатчина может быть захвачена большевиками в любой момент. Необходимо было что-то предпринять, однако, прежде всего, нужно было выяснить, что предполагает делать штаб генерала Краснова. Зайдя с этой целью

к Попову, я с трудом разбудил его и на свой вопрос получил безразличный ответ уставшего человека:

«Ничего... будем отдыхать... выспаться надо...»

«Но ведь большевики могут ворваться каждую минуту, и тогда начнутся дикие эксцессы!» — возразил я.

«Ничего, Бог не выдаст...» — с трудом, бессвязно сказал Попов и опять, будто бы ничего особенного не происходило, уснул.

— И? Что же ты делал дальше?

— Я понял, что нужно спастись. Передав собравшимся единомышленникам «соображения» начальника штаба, мы по взаимному соглашению решили создать свой импровизированный штаб — нам необходимо было срочно организовать оборону Гатчины — организовать хотя бы для того, чтобы город не был неожиданно захвачен озверевшими матросами, что, безусловно, привело бы к большой трагедии...

— Значит, ты, взвесив все «за» и «против», решил сражаться против Советской власти?

— Да...

— Но зачем, если было очевидно, что вас всех перебьют?

— Хороший вопрос...

Вряд ли товарищ Перепелица всерьез настроен разбираться в моих мотивах. Так скоро этот клубок не размотать, а психоанализ, как известно, в Советском Союзе запрещен еще вместе с Троцким. Наверное, нам могла бы помочь Сабина Шпильрейн, но кто же ее теперь станет приглашать из Ростова в Саратов?

Почему я принял решение сражаться, если понимал, что, с самой высокой долей вероятности, буду убит? Ответ простой — в середине октября я вдруг получил телеграмму от тебя: «скучаю люблю приеду короткий срок».

Милая моя! Смелая моя, гордая и бесстрашная! Ангел мой хранитель, если бы ты только знала, как я жду тебя! — совершенно потеряв рассудок, записал я тогда в дневнике.

В том, что меня и всех, кто оставался рядом, скорее всего, перебьют как собак, я почти не сомневался. Ситуация осложнялась с каждым днем — в воздухе натурально пахло кровью, однако теперь я был прикован к Гатчине не только страхом, который испытывал перед отцом, но и чувством гораздо более сильным и безумным — любовью.

— Так что же было дальше, Нестеренко?

— Уже следующим утром, 30 октября, я узнал от взволнованных офицеров, что через два-три часа в Гатчину войдут большевики... Я прибежал во дворец, где увидел, что наш штаб уже скрылся. Осень патриота — пол был завален сорванными погонами. Уничтожено было все, а с дверей были сняты даже надписи с указанием должностных лиц. Словно призрака в замке, я встретил одинокого отрешенного прапорщика. Он сообщил мне, что Керенского уже нет. Паренек рассказал, что, узнав о требовании большевиков выдать его, Керенский зашел к генералу Краснову и после краткого разговора спросил, что ему теперь следует делать...

— И что ему посоветовал Краснов?

— Застрелиться.

— Смешно. Рассказывай дальше!

— В 12 часов того же дня я переехал на квартиру в город к одному из своих друзей...

— Прятался?

— Старался избежать первого и рокового момента встречи с матросами...

— Почему же тогда не бежал из города, если боялся?

— Многие офицеры старались уйти хотя бы на несколько верст от города: одни укрывались в близлежащих лесах, другие уходили пешком по полотну железной дороги на одну-две станции от Гатчины — я же понял, что нужно переждать...

— Переждать?

— Да...

— Почему это ты это понял?

— Довольно скоро я осознал, гражданин начальник, что пыл у матросов выйдет, а необходимость в специалистах останется...

Сняв форму, но оттого не менее рискуя жизнью, несколько раз в день я появлялся на железнодорожной станции.словно ворон, я расхаживал туда-сюда по перрону, сжимая в руке пудру — милый маленький подарок, который сумел раздобыть к твоему приезду. Атмосфера стояла тревожная, оглушающе, как затворы винтовок, в гробовой тишине щелкали вокзальные часы. То и дело прилетали слухи об убитых офицерах. Один. Два. Три часа я мог стоять здесь, но поездов все не было, как и тебя.

Жизнь хихикала, предлагала выбирать: оставаться или бежать, сражаться или прятаться? Погибнуть, дожидаясь любимую, или исчезнуть, навсегда оскорбив отца?

Расхаживая по перрону, словно за кулисами, прячась за поднятым воротником, я шептал себе:

«Для чего ты хочешь остаться здесь, Петь? Чего ты добьешься, если в случае этом Вера гарантированно заявит на твои похороны? Думай трезво! Размышляй повзрослому, Петь! Кому, кроме отца, нужна твоя смерть? Что будет от того, что тебя убьют здесь? Некоторое время папенька будет размахивать твоей храброй гибелью, как выигрышным лотерейным квитком, а после, что будет после, когда начнутся преследования и он вовсе от-

речется от тебя?! Для чего же ты хочешь убить себя? Уж сколько ты доказывал ему, что храбр?! Если ты погибнешь — он будет твердить, что ты плохой солдат, если пройдешь всю войну — в который раз обзовет трусом. Так, может, лучше скрыться?! В конце концов, это твоя и только твоя жизнь! Другой у тебя не будет! Ради чего ты тут собираешься сражаться? Ради России? Так ее ведь больше нет! Ради Веры? Так какой в этом смысл, если мертвого она не сможет любить тебя?!»

Там, на вокзале, я все отчетливее понимал, что должен спастись, и все же никак не мог решиться — более смерти я опасался, что два самых важных человека в моей жизни никогда не простят меня: «Что будет, если она приедет, а я сбегу? Оставить ее на растерзание матросам? Прятаться по обозам и знать, что в это время твою любимую насилует полурота?»

В этих терзаниях прошли несколько дней. Носом постоянно шла кровь. Некогда подаренный тобою белоснежный платок был теперь совершенно алый. Разглядывая новые красные пятна на розовом снегу, я проклинал себя за собственную нерешительность и рационализм, за то, что в одном человеке могут сплетаться полярности. Уже через несколько лет, оказавшись в Константинополе, я узнал, что в проливе Босфор имеется двойное течение, что верхний слой более пресной воды движется из Черного моря в Мраморное, а нижний (более соленый) бурлит в направлении обратном. Течения эти старались убить всякого пловца, выброшенного из лодки, и в те дни, в Гатчине, я, конечно, не понимал еще, что впервые в жизни переплываю свой собственный Босфор.

— Так и что ты сделал, чтобы избежать расправы матросов?

— Воспользовавшись удобным моментом, я, как и другие мои товарищи, отправился на работу в Харь-

ков, куда из-за наступления немецкой армии эвакуировалась Гатчинская летная школа...

— В Харьков?

— Да...

— Значит, все-таки сбежал?

— Да...

— И что ты там делал, в Харькове?

— Я стал помощником начальника филиала Гатчинской авиационной школы...

— Как долго оставался в этой должности?

— Недолго. В связи с наступлением немецких оккупационных войск, теперь уже на Харьков, школа вновь была вынуждена двигаться дальше...

— Дальше? И куда ты двинулся дальше?

— Никуда... Я остался...

На этом мой второй допрос прерывается. Перепелица понимает, что впереди его ожидает новый длинный эпизод, и объявляет, что лучше продолжить завтра. Впрочем, новой встречи не случается. Следовательно не вызывает меня ни на следующий день, ни днем позже. Пытка. Будто зная о малодушии, которое вынудило меня покинуть Гатчину, словно понимая, что в действительности заставило меня остаться в Харькове, он вдруг дает мне время на воспоминания, прогонять которые заново совершенно невыносимо. «Ничего не упusti, Петя! — врываясь в мой тревожный сон, с улыбкой шепчет он, — подготовься и перечитай дневники!»

Печальные гастроли. Жизнь есть череда одинаковых постановок на разных сценах. Добравшись до Харькова, совсем скоро мы вновь заговариваем о бегстве: «Были красные — теперь (в этом уже нет никаких сомнений) приходят немцы и гайдамаки. Всем нам необходимо по-

нимать, что мы будем делать: останемся ли мы здесь или двинемся дальше?!»

Все молчали, молчал и я. А что тут скажешь? Всяко лучше до последнего быть зрителем, чем получать в этой драме хоть какую-нибудь, даже самую маленькую роль.

«Я стою за то, друзья, чтобы отсюда уехать. Мы привезли в Харьков ценное имущество, доверенное нам революционным правительством. Мы обязаны сохранить его в целости. Дело не во взглядах, не в политической ситуации, но в том только, что нам это имущество доверено и мы за него в ответе! Ни немцам, ни каким бы то ни было гайдамакам оно не должно достаться. Мы с вами не те и не другие... Давайте же завтра же начинать эвакуацию!»

Не в силах уснуть теперь, я вспоминаю, как там, в Харькове, офицеры спорили, а я смотрел в окно. День был бледный, а предложение понятное. В духе времени. В очередной раз нам предлагали выбирать между здравым смыслом и тем, что еще принято было называть порядочностью. Вместо того чтобы подумать о спасении собственных жизней, мы продолжали нелепо храбриться.

Мой враг не белый и не красный, враг мой не черный, не серый и не желтый — враг мой всегда только один: мой враг — любой человек. С детства мне талдычат, что я должен поступать честно, но как согласиться с этим, если никому не нужные теперь качества влекут за собой неминуемую смерть? К чему эта доблесть? К чему верность и чистота? Кому они нужны? Будущим читателям этого дневника, которые однажды найдут его на блошином рынке и, взяв за бесценок, удобно устроившись в своих креслах, будут умиляться стойкости и благородству белых офицеров?

Знаешь, милая, я вспоминаю теперь, что тогда, в Харькове, разглядывая бедный вид за окном, очень злился на отца. Я не мог простить ему собственной трусости. Пока офицеры решали, как им быть, я обвинял его во всех своих проблемах. Не раскрыв рта, чтобы только не нарушать собрания, я кричал ему, что ненавижу его, ведь великое преступление моего отца заключалось не в том даже, что, будучи дворянином, он оставался человеком глубоко коррумпированным, но в том только, что при всем этом заставлял меня быть порядочным. Отец поступал со мной непростительно и подло, воспитывая меня человеком исключительно неподходящим как для этой страны, так и для этого века.

Каждый из нас теперь прекрасно понимал, что логичнее всего остаться, что немцы не матросы, что никаких люстраций не будет. В глубине души мы всего лишь мечтали выдохнуть и вернуться к летному делу, однако все эти пустые понятия о самоуважении, это отвратительное чувство вины, которым всех нас награждали с ранних лет, побеждали. Из всех возможных трезвых решений мы, бедные, покалеченные собственными ошибочными представлениями о добре, выбирали тупиковый путь правды и решали начать эвакуацию...

Все, но только не я. За день до назначенного исхода я понял, что не имею права ходить по этой земле. Чувство вины — величайший мотиватор. Можно сколько угодно доказывать отцу, что Гатчина была оставлена исключительно из тактических соображений, однако себя я обмануть не мог.

«У тебя заячья душа, Петр Ильич, и твой отец прав. Ты такой же трус, как и вся твоя белая армия. Красные побеждают, потому что вы бежите. Немцы побеждают, потому что ваш главный талант — отступление. Ты не дожидаясь главного боя, ты не дожидаясь любимую, ты не должен дожидаться следующего дня...»

Я обошел самолет и проверил обшивку крыльев. Между верхним и нижним крыльями были натянуты расчалки — я проверил и их. Затем, в последний раз, я осмотрел колеса, тормоза и тросы. Забравшись в кабину, бросил взгляд на приборы:

1. Альтиметр — указатель высоты
2. Указатель оборотов двигателя
3. Указатель скорости
4. Магнитный компас
5. Указатель уровня топлива
6. Указатель температуры охлаждающей жидкости
7. Переключатель топливных баков
8. Магнето
9. Ручной топливный насос

И запустил двигатель. Убедившись, что оба переключателя магнето выключены, я создал давление в топливной системе и начал подкачку. Бак самолета был полон, поэтому для достижения необходимого давления мне понадобилось качнуть всего несколько раз. Двигатель ожил сам по себе. Как только температура достигла примерно 60 градусов, я увеличил обороты. Все было в полном порядке (кроме моей совести), поэтому я приказал убрать стояночные колодки и, вырубив к месту взлета, еще раз проверил температуру, давление и направление ветра. Я открыл дроссель и... и это последнее, что я помню...

ДОПРОС ТРЕТИЙ

— Значит, в прошлый раз мы закончили на том, что ты остался в Харькове, верно?

— Верно...

— То есть в который раз перешел на сторону врага?!

— Нет... В начале ноября 1917 года, во время полета, я попал в аварию, в результате которой получил ушиб позвоночника, что заставило меня лечь в госпиталь на излечение...

— Авария на самолете?!

— Да...

— Твой самолет упал?!

— Да...

— Как ты можешь это доказать?

— Надеюсь, что в госпитале сохранились соответствующие документы. Кроме этого, вы можете взглянуть на мою спину и походку...

— Ты хочешь уверить меня, что твой самолет потерпел крушение, но ты остался жив?

— К сожалению, да...

— Не много ли чудес для одной жизни, а? Война, ранение, авиакатастрофа...

— Происшествие, гражданин начальник, происшествие. Катастрофа — это когда гибнут люди, а я, как видите, жив...

— Тебя послушать, так смерть буквально ходила за тобой по пятам, Нестеренко...

— Да, в общении со смертью у меня есть некоторый опыт...

— Это как понимать?

— А очень просто. Смерть есть то, что мы не можем помыслить, гражданин начальник. Едва вы представляете ее — она отступает...

— Ты хочешь сказать, что, когда тебя ранило или когда самолет твой падал, ты не о помощи просил, не богу молился, не исправлял ситуацию, а пытался помыслить собственную смерть?

— Именно. За несколько мгновений до удара о землю я с точностью представил себе все, что сейчас со мной произойдет, и это позволило мне выжить.

— И ты полагаешь, Нестеренко, что смерть не случается с тобой только потому, что ты ее представляешь?

— Я в этом твердо убежден, гражданин начальник.

— Погоди-ка... А как же самоубийцы?

— А что самоубийцы?

— Они же представляют собственную смерть!

— Так они ведь в этот момент и есть своя смерть...

— Ты хочешь сказать, что самоубийцы обманывают сами себя?

— Верно, гражданин начальник.

— Значит, человек, который прыгает из окна, может остаться жить?

— Как правило, нет — слишком мало времени, чтобы все обстоятельно представить...

— Как по мне, так полную чушь ты несешь!

— Я понимаю, в это сложно поверить, но приведу вам другой пример. Вы вот, например, читаете Флоренского?

— Нет, кто это?

— Это такой прекрасный наш философ, правда, уже лет семь как арестован...

— Если арестован — значит, он враг народа, а не прекрасный философ!

— Враг народа тоже может быть прекрасным философом, гражданин начальник. Так или иначе, Флоренский говорит, что человек умирает только раз в жизни и поэтому, не имея подобного опыта, всякий раз умирает неудачно, понимаете? Человек попросту не умеет умирать. Смерть происходит ошущью, в потемках, однако смерть, как и всякая деятельность, требует навыка. Чтобы умереть вполне благополучно, надо знать, как умирать, надо выучиться смерти. Для этого необходимо умирать еще при жизни, под руководством опытных людей, уже умиравших. Вот вы спрашиваете меня: не много ли везения? Но в том-то и дело, гражданин начальник, что в жизни моей нет места везению, но только множеству попыток умирать. Вся моя судьба подчинена этому. Детство, голод, холера, война. Многие годы я трачу на попытки помыслить собственную смерть. Я представляю, как меня поразит чума или атакует туберкулез, как случится паралич или апоплексический удар. На всякий случай я перебираю все, что только может со мной произойти: желтуха, сыпь, лихорадка; дифтерит, коклюш, корь. Оспа, рак, круп — главное, гражданин начальник, ничего не забыть! Собственный мозг, как лучший в мире оберег. Смерть в кредит. Помысленные мною, мне больше не страшны ни чахотка, ни понос! Я знаю, что после стольких дней и ночей репетиций я не умру ни от ревматизма, ни от горловой болезни, ни от воспаления горла. Меня не убьют ни плеврит, ни простуда, ни душуше...

— А пуля?

— А что пуля?

— А пуля тебя тоже не сразит?

— Не-а...

— Потому что ты уже это представил?

— И поэтому тоже...

— Значит, ты уже представил, что дальше с тобой будет, верно, Нестеренко?

— Верно, гражданин начальник...

— А это ты тоже представил, да?!

Не дождавшись ответа, Перепелица дважды бьет меня. Сперва точно в челюсть, затем, выскочив из-за стола, уже лежачего, в нос. Нужно признать, что удары у этого ублюдка хорошие. Открыв глаза, я понимаю только, что вверху потолок, а под затылком пол. На мгновенье буквально, но я, кажется, теряю сознание.

«Странно, я был уверен, что если что-то и выведет моего любезного следователя из себя, то уж точно не мои рассуждения о смерти... Нужно быть внимательнее», — думаю я.

Меньше всего мне нужна теперь смерть случайная, смерть стремительная и глупая, смерть, которую я не успею помыслить.

Без разрешения и в какой-то степени даже идя в контратаку, я становлюсь на ноги и возвращаюсь за стол. Подбородок мой теперь совершенно алый, носом идет темно-гранатового цвета кровь. Как многоточие в конце строки, маленькие капли падают на чистый лист.

— Вытри!

— Да, гражданин начальник...

— Это ты тоже помыслил, верно, гнида?

— Нет, — больше не улыбаясь, отвечаю я.

— Все-таки ты не всемогущ, верно?!

— Верно, гражданин начальник...

— А я всемогущ! Я всемогущ, мразота ты бесхребетная, потому что я настоящий советский человек, а ты нет! Советский человек всемогущ, а ты, контра поганая, сдохнешь уже в этой тюрьме, но прежде — прежде ты, Нестеренко, покажешь мне о своих немецких поделничках, а не о смерти, понял меня?!

— ...

— Понял меня?!

— Да...

«Всесилён он... Таких всесильных, милая, у меня бывает по десять за ночь. Свой/чужой, предатель/верный друг — правда заключается только в том, милая, что кем бы ты ни был при жизни, Максимом Горьким или расстрелянным ээком, жертвой аборта или главой японской компартии Катаямой, — цена тебе двенадцать рублей на амортизацию крематория и восемьдесят килограммов угля...

Сейчас я подыграю следователю, сейчас я сделаю вид, что он мужик, а я будто бы напуган, сейчас я сделаю все, чтобы стрелял в меня не он, и не сейчас, и не здесь, но только это нисколько не отменяет того факта, что таких, как этот Перепелица, через меня прошли десятки тысяч! Машинисты и слесари, почтальоны и бригадиры, атлеты и моряки. Однажды я кремировал 45 человек из пединститута в Горьком — деканы, доценты и студенты. По ночам через мою печь выходили комсомольцы и члены политбюро, такие как, например, Косиор или нарком финансов Чубарь. Я кремировал польских и югославских секретарей ЦК; военачальника Тухачевского; командармов Уборевича, Якира и Корка; комкоров Фельдмана, Эйдемана и Примакова — все они тоже считали себя всесильными, но однажды каждого из них я пересыпал в кремлятор...»

— Ну что ты трясешься, Нестеренко? Понял, кто здесь всесильный?

«Понял! Понял, потому спустя год мне доставили и маршала Блюхера, который подписал смертный приговор всем вышеперечисленным военачальникам, включая Тухачевского. В комплекте с всесильным советским гражданином Блюхером мне привезли тела двух его пер-

вых жен и брата. Теперь мне сложно вспомнить точно, милая, но думаю, что через меня прошло что-то около четырехсот высокопоставленных военных, 11 заместителей наркома, около 70 членов высшего военного совета, несколько адмиралов и десятков генералов армии. Мной была кремирована целая страна...»

Разглядывая покрасневшего следователя, я думаю теперь, что настоящая и истинная власть проявляется не в пытке и не в унижении другого, — единственное и точное проявление власти случается лишь в тот момент, когда, стоя над трупом, ты можешь сказать ему: «Я знаю, как ты умер, старик». Мы властны лишь над теми, кого пережили, и мы бессильны перед теми, кто переживет нас.

— Я сказал, не трясись, а начинай показывать относительно работы на немцев!

— Как скажете, гражданин начальник...

— Показывай!

— Я на немцев никогда не работал...

— Ты же сам говоришь, что остался в городе!

— Всё так, я остался в городе, но лежал в госпитале до занятия его немецкими оккупационными войсками, а затем лечился уже амбулаторным способом...

— В качестве кого ты служил в немецкой оккупационной армии после выздоровления?

— В немецкой оккупационной армии в городе Харькове в 1918 году я не служил, так как считался больным и проходил курс лечения в течение двух недель...

— А потом?

— А потом в конце февраля 1918 года или в начале марта — теперь уже точно не вспомню — вместе с эшелоном солдат (состоящим преимущественно из австрийцев) я направился в город Киев, откуда имел намерение поехать в город Николаев к родителям...

— И что же? Поехал?

— Нет. Уехать в Николаев у меня не получилось, и я остался в Киеве, где поступил на работу в авиационный военный парк на должность помощника командира...

— Какое правительство было в городе Киеве, когда ты туда приехал?

— Украинская рада...

— Значит, ты стал работать на Украинскую раду?!

— Да...

— Почему?

— Хотел летать...

— Летать, говоришь?

— Да. Вся моя жизнь, все сознательные поступки были подчинены одному только желанию летать, гражданин начальник...

— И ради желания этого ты был готов предавать, верно?!

— Нет. Никогда и никого не предавал и даже наоборот...

— Наоборот?! Сейчас проверим! Подвергся ли ты каким-либо репрессиям со стороны властей немецких оккупационных войск и правительства Украинской рады?

— Нет, никаким репрессиям я не подвергался...

— Почему?!

— Думаю, потому что это происходило в скотское время, когда солдата не брали в плен, и, если только немедленно не расстреливали, тотчас предлагали перешить погоны. Я не подвергся репрессиям, потому что каждый специалист, особенно столь редкий, был на отдельном счету...

— Каждый безвольный специалист!

— Это вопрос дискуссионный, гражданин начальник. Я могу попросить у вас закурить?

— А отчего же не попросить, раз ты у нас такой шелковый вдруг стал, попроси!

— Прошу...

— По всей форме попроси, гнида!

— Гражданин начальник, я, Нестеренко Петр Ильич, прошу у вас закурить...

— Что, успокоиться хочешь?

— Скучаю по пеплу...

— Ты смотри-ка, а! Все-таки хочешь убедить меня, что не трус, да? По морде получил и опять шутишь?

— Не трус, да...

— А тогда на вот тебе, бери!

Остатки злобы. Закипающую агрессию просто так не побороть. Ударив один раз, Перепелица не выдерживает и повторяет аттракцион.

— На, сука! На!

На этот раз он попадает в переносицу и в висок. Удары его по-прежнему увесистые и точные. Перепелица расстегивает засаленный ворот и, встав из-за стола, вновь возвышается надо мной:

— Так что ты делал в Киеве, гнида?

— В Киеве я проживал до занятия его Петлюрой, то есть до июня месяца, но это не точно, — пытаюсь сосредоточиться, сплевывая кровь, отвечаю я.

— Чего ты тут разлегся? Вставай!

— Слушаюсь, гражданин начальник...

— И кровь утри!

— Секунду...

Пока я пытаюсь встать, Перепелица не смотрит на меня. В этот момент следователь вспоминает об одной из своих непосредственных обязанностей. Перепелица подходит к стулу, с которого только что сбил меня, и начинает внимательно осматривать его. Такая работа. Перед каждым новым допросом следователю надлежит тщательно изучать мебель во избежание обмена

информацией между заключенными. Выходит — забыл! Подобно скрипичному мастеру, который сосредоточенно просматривает каждый сантиметр деревянной поверхности, Перепелица ищет на стуле зарубки или хлебные мякиши. Если я умру здесь и сейчас, следовательно ничего не будет, однако, если вдруг выяснится, что кто-то из арестантов сумел оставить послание, быть беде! Вот и ответ. В действительности Перепелица ненавидит меня уже за то, что каждый день ему приходится осматривать стулья, в то время как еще несколько лет назад он был вынужден засовывать руки по самые локти в парашу, ведь даже там, по мнению советской власти, поганая контра могла оставлять тайные сообщения. Перепелица до сих пор помнит тот запах и ненавидит всякого человека, из-за которого когда-то ему приходилось закатывать рукава.

Сегодня Перепелица впервые избивает меня. С одной стороны, ничего особенного в этом нет, с другой — все же и некоторая вежа в наших отношениях.

Терпение человека измеряется его способностью выдерживать иронию и сарказм. Перепелица в этом смысле слаб, хотя и сдерживался два допроса.

Глупо, конечно, писать об этом теперь, когда очевидно, что все мои дневники будут изъяты, а эта страница едва ли выйдет за пределы камеры, и все же я чувствую, что обязан продолжать. Я вел дневник столько лет, так почему же теперь должен останавливаться? В этой стране, где огромный крематорий уничтожает людей, идеи и даже воспоминания, ведение дневника есть едва ли не первейшая и важнейшая обязанность гражданина. Эта привычка ежедневно фиксировать будни необходима всем нам, ибо однажды наступят времена, когда вместе с людьми государство испепелит и все документы...

— Так а почему же ты, гнида, не остался с Петлюрой? — вновь сев за стол, спрашивает Перепелица.

— В числе группы летчиков, служащих в украинской авиации, я отказался дать подписку правительству Петлюры и выехал в город Екатеринодар...

— Для чего?

«Черт, как же теперь болит голова...»

— Для чего, я тебя спрашиваю, ты выехал в Екатеринодар, сука?

— Чтобы служить в штабе авиации добровольческой армии Деникина, гражданин начальник...

— Знаешь, Нестеренко, я уже сбился со счета! Вот же ты безотказка! Не всякая шлюха может похвастаться такой открытостью, как ты. Белым служил, красным служил, Раде служил, а потом опять к Деникину под бочок?

— Так складывалась жизнь...

— Жизнь у него так складывалась! А у меня вот почему-то она иначе сложилась! Я с народом с рождения и никогда ему не изменял!

— Отныне и впредь вы всегда будете оставаться примером для меня, гражданин начальник.

— Мало тебе?! Хочешь еще по соплям получить?!

— Нет, гражданин начальник...

— Когда и как ты выехал в Екатеринодар?

— В конце июня или в начале июля восемнадцатого года...

— И чем же ты там занимался?

— В добровольческой армии Деникина меня назначили помощником начальника авиации. На этой работе я числился до февраля-марта девятнадцатого, а затем стал помощником командира формируемого отряда по хозяйственной и технической части. Через месяца два я ушел с работы из авиации в штаб деникинской армии...

— А там ты что делал?
— Занимался охраной города Новороссийска на должности помощника командира отряда...
— Дальше что?
— В Новороссийске весной 1920 года я случайно встретил...
— Случайно?!
— Дайте досказать! Да, в конце марта двадцатого года я случайно встретил на улице своего школьного товарища по учебе в Одесском военном училище майора Стефановича. В этот момент он являлся представителем сербского правительства при армии Деникина. В разговоре с ним я выразил желание бросить всё и выехать в Сербию. Стефанович, как представитель названного правительства, дал свое согласие и выдал мне визу на въезд...
— Почему ты решил уехать?
— Почему?
— Да, почему ты решил выехать, Нестеренко?
— Да потому что понял, что в России для меня всё кончено...

11 марта. Поражение — вопрос времени. Во всем, что теперь происходит с нами, стыдно признаваться даже дневнику. Единственное, что все мы теперь коллекционируем, — неудачи. Деникину больше никто не верит. Даже пьяные девки на улице требуют передать командование Врангелю. После позорной потери Одессы все ожидают, что подобное повторится и здесь. До перерыва подать рукой. Солдат бежит. Повсюду паника, а оборону держат только безумцы...

17 марта. Говорят, что пал Екатеринодар...

26 марта. Позор. Горят склады и наши пятки. Мы бросаем всё: повозки и технику, цистерны с нефтью и не-

нужных людей. Корабли вряд ли смогут вместить всех тех, кто теперь хочет бежать. Народ потерял самообладание. Наблюдать за всем происходящим стыдно...

Мартовские события произвели на меня столь сильное впечатление, что я решил... остаться. Быть одним из тех, кто дерется за возможность взбежать по трапу отходящего итальянского корабля, я не хотел. Постоянно вспоминая Гатчину и в то же время прекрасно представляя последствия, я решил, что не сдвинусь с места.

«Глупо, глупо бежать от смерти! Зачем просить жеребца и бежать в Багдад, если смерть уже ожидает тебя там? Что с того, что я трусливо покинул однажды Гатчину, если в действительности все это время смерть ожидала меня здесь? К чему обманывать себя, к чему сражаться за место на палубе, если в случае этом я превращусь в обезумевшее животное, которое ради собственного спасения готово идти по головам?»

Наблюдая, как во время паники солдаты и гражданские ежечасно демонстрировали худшие человеческие качества, я говорил себе, что лучше немедленно застрелиться в порту, чем уйти вместе с этими людьми. Одна попытка самоубийства у меня уже была, и, кажется, наступал момент следующей — следующей и последней. Я не собирался мыслить собственную смерть, я всего-навсего хотел стать посреди пристани, нажать на курок и... и, вероятнее всего, так бы оно и произошло, если бы в момент этот аккурат рядом со мной не появилась ты...

НОЧЬ ПЕРЕД ЧЕТВЕРТЫМ ДОПРОСОМ

Первое, что я подумал в то мгновение, что уже мертв. Видно, случайно нажал на курок, пуля прошла мозг, и вот я в раю или в аду (всё одно) и вижу теперь тебя в компании какого-то нелепо накрахмаленного старика. Он был в шубе (я это хорошо запомнил), а ты в элегантном дымчатом пальто. Выглядеть так в подобной ситуации было почти преступно. Вы на мои похороны? Да? Нет?

Но ты не ответила — ты не заметила меня.

Вера!

Вера, которую я предал и не видел вот уже несколько лет, Вера, которая собиралась приехать в Гатчину, Вера, которая обещала любить меня всю жизнь и которую я не дождался, Вера, которая так мечтала о сцене, ты появилась в порту в ту самую минуту, когда я собирался нажать на курок...

«Галлюцинация? Неужели я до того трус, неужели просто-напросто не могу застрелиться? К чему мозг мой придумывает все эти спасительные уловки?»

Безо всяких церемоний, не обращая внимания на пожилого спутника, я подбежал к тебе, чтобы ущипнуть себя:

«Вера!»

«Петр Ильич?! Вы?!» — Не сон! Не мертв...

«Я...»

«Петр Ильич...»

«Кто это с тобой?!»

«Это мой старый друг...»

«Вижу, что старый...»

«Оставьте, Петр Ильич...»

«Иди же ко мне!»

«Нет!»

«Сударь, я требую», — преодолевая страх, вдруг пискнул твой старик.

«Петр Ильич, давайте отойдем...»

«Но милая...»

«Я сейчас вернусь к вам, не беспокойтесь...»

В суматохе, среди всех этих людей, которые проталкивались к кораблям, ты взяла меня под локоть и отвела в сторону.

«Да что с тобой?! Ты что не видишь, что это я?»

«Вижу, но у нас нет времени на этот пустой и вульгарный разговор! Со мной всё более-менее благополучно, Петр Ильич, однако жизнь теперь совершенно иная. Посмотрите по сторонам! Всё теперь изменилось, вы же видите, что здесь творится! Всё в прошлом, я стала другой и прошу вас разговор в этом русле более не продолжать! Право, глупо же теперь выяснять отношения! То, что на прощание бог предоставил нам возможность увидеться, — славно, но не нужно теперь преувеличивать значение нашей случайной встречи...»

«Случайной? Верочка, но это же судьба!»

«Петр Ильич, оставьте эти пошлости — вы же офицер!»

«Пошлости?! Милая, ты сердисься? Я понимаю! Милая моя, прости! Я знаю, что тогда, в Гатчине, поступил скверно, что не дождался тебя, я знаю, что мне нет про-

ДОПРОС ЧЕТВЕРТЫЙ

щения! Я знаю, знаю, что годами должен буду замаливать этот грех, но так дай мне эти годы! Вера, Верочка, милая! Прости меня!»

«Всё это теперь неважно и в прошлом. Я на вас зла не держу. Это было бы теперь совершенно неуместно и как-то даже по-детски. Годы прошли, жизнь не стояла на месте, мы повзрослели, рок испытал нас...»

«Милая моя, тебя заколдовали словно! Ну сколько же можно сердиться? Вот же я, стою перед тобой! Ты же обещала, ты же клялась, что мы всегда будем вместе! Как же это может так быть, чтобы ты сейчас всё это наговорила? Тебя напугала эта атмосфера? Это толпа, да?»

«Петр Ильич, прошу вас, остановите вашу шарманку!»

«Ну-ка посмотри на меня! Ты что, забыла про обещания?!»

«Уберите руки, Петр Ильич! Прекратите! Что за глупости? Кому я что обещала? Мальчику, которого проводила погибать?»

«Но ведь ты писала мне, что приедешь в Гатчину! Я ждал тебя! Я ждал!

Я рисковал!»

«Писала, не писала — какая теперь разница?! Оглянитесь, говорю, вокруг! Главное, что я у вас была! Быть может, и писала я что-то такое, но для того только, чтобы поддержать вас. Ни в какую Гатчину я ехать, конечно, не собиралась!»

«Ты врешь!»

«Нет!»

«Врешь!»

«Отнюдь! Я всего лишь хотела поддержать вас! О положении дел в Гатчине, о вашем личном состоянии я ровным счетом ничего не знала, так что теперь скажите мне спасибо! Из-за вас я сейчас не попаду на судно! Если вы действительно любите меня — проводите нас!»

— Так почему же ты решил бежать?

— В 1920 году я понял, что Деникин в России уже ничего не добьется...

— Вечно тебя все не устраивали! Исходя из чего это ты понял, что Деникин ничего не добьется?

— Чем больше я узнавал его, тем сильнее человек этот смешил меня. Он мог часами рассуждать о высоком, но при этом никогда ничего не делал по существу...

— Давай подробнее!

— Например, Деникин искренне считал, что мы проигрываем немцам духовно...

— Это в каком смысле?

— В прямом. Он был совершенно оторван от реальной жизни. Приказывая убивать, убивать и еще раз убивать, Деникин часами мог рассуждать, что русская армия стала бы гораздо лучше, если бы поработала над своей моралью. Хорошо организованная мораль, по его мнению, помогла бы нам уничтожить больше...

— Тебе-то, Нестеренко, всякая мораль явно чужда!

— Мне чужды бездействующие генералы, гражданин начальник. Во время войны, да и после, Деникин жил в совершенно сказочных мирах. Он искренне полагал, что еще одной причиной наших бед стала отравленная кайзером русская душа. Я слушал его и не мог поверить, что все это он говорит всерьез. Если верить Деникину, то до вмешательства кайзера с русской душой всё было

в полном порядке, а потом вдруг случилась беда. Пока Деникин продолжал мыслить атавизмами, Россия разваливалась на глазах. Кажется, он искренне не понимал, что совсем скоро страны, за которую он так вяло воевал чужими жизнями, не станет. Впрочем, думаю, что по-настоящему его тревожило совсем другое...

— Что же?

— Отсутствие личного водителя...

В глазах Перепелицы впервые появляется искра. Кажется, он даже улыбается, впрочем, тотчас делается серьезным и продолжает допрос:

— Почему же ты тогда в Киеве примкнул к его армии?

— Потому что в Киеве идиотов было еще больше. Взвешивая все «за» и «против», я ошибся тогда, рассчитав, что он сможет навести порядок.

— Значит, ты всегда был на стороне тех, кто может навести порядок?

— Мне кажется это разумным. Неужели вы поступаете иначе?

— Не отвлекайся!

— Я не ехал непосредственно за Деникиным — я двигался за силой, которая, как мне тогда казалось, могла остановить всеобщий хаос.

— О каком хаосе ты говоришь?

«О каком хаосе я говорю? И правда, откуда же тебе, сопляку, знать. Вот же, перед тобой мои дневники... Что же ты всё мучаешь меня, а? Возьми да прочти!»

Перед парадом прошел молебен, красные расстреляли монахов, белые допросили и повесили командира красных. Вышее командование русской армии в очередной раз сфотографировалось, а в Киев вошли немцы. Тут восстание, там вооруженное выступление. Бесконечные принятия

постановлений, образования комитетов и создания чего-нибудь, чего никому и не надобно. Совещания, резолюции, призывы. Правительства временные, всё неустойчивое, непонятное, преходящее. Это село зачем-то освободили, то не пойми для чего сожгли. Пришли летописцы, пепелище старательно описали, крестьяне долго рассказывали им, что и как происходило, а потом летописцев этих для чего-то взяли, да и разорвали на куски. Затем пришли солдаты и крестьян этих расстреляли, а дома и не спалили даже, потому что нечего уж было палить...

— Нестеренко, ты чего опять замолчал? Давно по морде не получал? Всё зажило?

— Зажило, гражданин начальник...

— Ты говорил о хаосе...

— Я скорее вел к тому, что в хаосе этом было довольно сложно принимать правильные решения и из кого бы то ни было выбирать...

— А выбирать не нужно было, Нестеренко, нужно было быть со своим народом!

«Боже, вот же кретин! Быть со своим народом — ну не мудака ли, а?! Да будет тебе известно, гражданин начальник, что этот самый народ, неотъемлемой частью которого ты, валенок, безусловно являешься, ничего не хотел. Тот же Деникин правильно подмечал, что всю Гражданскую войну толпа шла обывательским путем нейтральности. Народ не собирался проливать свою кровь ни за одну из сторон. Время от времени, устав, отчаявшись, обезумев от голода, масса срывалась за обещаниями тех или иных проходимцев, но не более того. Ни красные, ни белые, ни Петлюра, ни Махно, ни Скоропадский — никто из них по-настоящему не выступал вместе с народом. Да и сам народ, если и ввязывался в бой, то отстаивал права кого угодно, но только не самого себя».

— Мне что, из тебя теперь по слову вытягивать?

— Знаете, гражданин начальник, я тут просто задумался, и мне кажется, что народ-то и сам-то не очень-то понимал, чего хочет...

— Вас, дворян, русский народ всегда не устраивал!

— Напротив, я считаю, что ничем и никогда от простого мужика не отличался...

— Нестеренко, что ты тут несешь?! Не отличался он от простого мужика! Киев, Варшава, Берлин, Париж — ты дворянин!

«Ну и что? А Ленин твой что, не дворянин?»

— Вы так говорите, гражданин начальник, будто все эти города я посещал по собственной воле. Я же не на воды туда выезжал! А что касается дворянства... Так разве я его выбирал? Разве по собственному желанию я родился в семье дворян? Известен ли вам хоть один человек, который еще до рождения решил, что станет жидом, поляком или русским, что появится на свет в богатой или бедной семье? Вы всё тычете мне моим дворянством, но я ведь никогда не собирался быть таковым. Дай мне выбор: я еще несколько раз подумал бы, стоит ли вообще появляться на этот ссанный свет, да и особенно в наш век! Дворянство, как и всё прочее, в моей судьбе случай! С первых дней моя жизнь была предопределена. Сегодня я вынужден оправдываться перед вами только за то, что 27 июня 1886 года появился на свет в селе Люботин Харьковской области, в семье дворян...

— Из твоих слов следует, что от человека ничего не зависит...

— А что от меня зависит, гражданин начальник, если меня судят не за свершения, а за происхождение?

— Тебя судят за то, что ты шпион, гнида!

— Это полная ерунда!

— Правда?! Ну тогда на вот, взгляни!

Я ожидаю, что Перепелица вновь ударит меня, но вместо этого следователь демонстративно и спокойно открывает папку и протягивает мне какие-то бумаги:

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА

Зубкина Сергея Яковлевича

от 11 декабря 1938 года

Нестеренко Петр Ильич, директор Московского крематория, весьма подозрительный человек, в СССР прибыл из Франции в 1924—1926 гг. После десятилетнего пребывания за границей, куда он попал с экспедиционным корпусом, сам он летчик, он как будто полковник белой армии. Будучи за границей, он побывал в ряде стран: Германии, Болгарии, Сербии, Италии, Франции и др. Я уверен, что он является разведчиком иностранных разведок.

ВЕРНО:

И. о. нач. XI отделения I Спецотдела НКВД
мл. лейтенант Госбезопасности /Шевелев/

«Поразительно, — только и успеваю подумать я, — какая же преждевременная артподготовка — обо мне они говорят уже в 1938 году!»

— Ну? Что ты на это скажешь?

— А что тут скажешь? Ложь!

— Ложь? Ну, хорошо, — еще раз удивляет меня следователь, — положим, ложь. Такое бывает. Допустим, я тебе поверил, но как мне тогда быть вот с этим, а?

Вырвав лист из моих рук, Перепелица начинает читать вслух:

От Юркевич Надежды Ивановны

Заявление

Считаю необходимым довести до сведения о нижеследующем.

Директор Крематория тов. Нестеренко Петр Ильич довольно подозрительная личность и вот почему:

Биография его запутанная, а трудовой стаж в трудсписке числится только с 1926 года, а где же он был раньше и что делал? Ранее он был в плену, по его рассказам, в Германии, жил и учился в Литве. Приятели и друзья его, впоследствии оказавшиеся троцкистами, изменниками и врагами народа, напр. Болотин, Карпов, Вульф и др.

— Мне продолжать?

— Если только желаете, гражданин начальник...

— Хорошо, Нестеренко, с твоего позволения, я продолжу!

Кстати сказать, есть разговоры, что жена тов. Нестеренко родная сестра Егорова, и она якобы ему создала авторитет и прочее.

— Мне нужно это комментировать?

— Нет-нет, пока сиди и слушай!

Еще факт, в прошлом году секретарь парткома Евсин застал т. Нестеренко рано утром за просмотром троцкистской литературы и с портретом Троцкого, и когда же т. Нестеренко его увидел, то т. Нестеренко растерялся, но тут же заявил, что можно ли читать эту литературу и что ему «случайно» три книги «подбросили» вместе с почтой. Секретарь категорически возразил в читке этих книг и тут же вызвал представителя Наркомвнудела, составили акт и троцкистские книги изъяли.

— Вы это как себе представляете, гражданин начальник, что я с портретом Троцкого на кладбище сидел?

— Я сказал, сиди молча и слушай!

Я лично предполагаю, что т. Нестеренко имеет и личную связь, тем более, когда он там жил и имел «друзей», о которых я говорила выше. Одним из примеров его стиля и метода работы до настоящего времени, является создание недовольства в массах (клиентах) путем неправильной продажи ниш — не в порядке очередности, а как вздумается, или продажа одной ниши дважды, купят вазу, а он поставит урну (вазу) дороже, и систематический обман в сроках выполнения, грубое бездушное отношение к живым людям.

— А что такое бездушное отношение к людям, гражданин начальник?

— Закрой рот, я тебе сказал и слушай!

Работники бухгалтерии в настоящее время работают в грязном помещении, кроме всего этого на улице дождь и в помещении дождь. Работа финансово-хозяйственная неудовлетворительная, требующая тщательной проверки — это видно из протоколов, неоднократных выговоров и заключений комиссий. Инвентаризация ниш уже несколько лет не производилась, если и пытались произвести, то были случаи, когда т. Нестеренко сам лично заставлял их пустыми урнами. Якобы место занято, а потом продавал кому хотел и за сколько хотел. Он игнорирует общественные организации (парт. и проф. орг). Были случаи, когда он порвал протокол общего собрания, а секретарь парткома потом склеивал и перепечатывал.

«Думаю, впрямь я смогу этим только гордиться...»

Полный зажим самокритики и запугивание работников.

Может быть, я и недопонимаю этот вопрос, но мне кажется, что специфическим работникам ставки занижены, например:

Дежурный санитар по приемке трупов получает 130 рублей в месяц, санитар уборки трупного зала — 120 рублей в м-ц, истопник-монтер получает 177 руб. в м-ц и т. д.

Неправильное использование средств, запутанность в учете, бесцельное строительство и бесплановость работ. Наконец, такой факт, примерно числа 16/VI с. г., в моей беседе с секретарем парткома т. Евсиным он мне сказал: «Вот, если б я мог попасть лично к тов. Ежову или его заместителю, я бы ему всё рассказал про Нестеренко, а то у Нестеренко и до сегодня где-то есть «свой», который его здорово поддерживает». Это обстоятельство очень прошу учесть.

«Ну, к товарищу Ежову ей теперь довольно сложно будет попасть...»

Из всего вышеизложенного, я лично считаю, что тов. Нестеренко является политически ненадежным. Дополнительный материал еще могут дать работники, которые с ним больше по работе соприкасались, а именно, т. т. Евсин, Поспелов, Базукина, Лебедев Ф. Н., Мороз, Максифролова, Калкунов, Лукашина и Борисова, а также прошу обратить внимание на жалобы клиентов в жалобной книге.

22.У1/38 года

Юркевич

Верно:

Ст. следователь 2 Упр. НКВД СССР
лейтенант Госбезопасности Перепелица

— Ну, что ты теперь скажешь?

— А что тут скажешь, гражданин начальник? Русский донос — бессмысленный и беспощадный...

— Это, Нестеренко, не донос, а свидетельство!

— Это, гражданин начальник, донос!

— Значит, отказываешься признавать, что шпион?

— А что из вами прочитанного здесь указывает на то, что я шпион?

— Разве признания честной советской женщины тебе недостаточно?

— Ну, гражданин начальник...

— Из чего я делаю такой вывод, Нестеренко? А из чего бы мне сделать вывод обратный? А что из твоей жизни могло бы убедить меня, что ты не шпион?!

От предложения к предложению Перепелица говорит всё громче, но затем вдруг затихает. Теперь я постоянно ожидаю удара, но следователь не бьет. Напротив, повышая голос, он вдруг словно сам себя ставит на место.

«Все-таки, как бы ни хотелось мне подобное признавать, юный мой товарищ Перепелица оказывается калачом тертым. Он знает, что делает. Настоящий профессионал своего дела. Умница, как есть. На мой счет у него, судя по всему, имеются и тактика, и стратегия...»

— Значит, ты хочешь, чтобы я доказал тебе, что ты шпион?

— Хотелось бы скорее, чтобы вы пришли к моему обратному, гражданин начальник...

— Не выйдет. Я докажу тебе! — Закатывая рукава, вновь заводится он.

— Вы не можете доказать то, чего нет...

— Не могу? Хорошо, давай тогда поэтапно. В двадцатом году ты бежал в Сербию, верно?

— Верно, но не совсем...
— Почему это не совсем?
— Потому что сперва я выехал в Константинополь...
— Рассказывай!
— Вы же собирались доказывать, что я шпион...
— Ты рассказывай, а я докажу! Как ты отправился в Константинополь? — Как и все, кораблями из Крыма...
— Сколько вас там было?
— Сто двадцать шесть судов из пяти портов...
— А людей сколько?
— Думаю, что-то около ста пятидесяти тысяч человек, и всё же, кажется, вы собирались доказать, что...
— Сто пятьдесят тысяч трусов!
— Ясно. Вам бы успокоиться, гражданин начальник...
— Закрой рот!
— Тогда мне сложно будет говорить...
— Открывай его только по делу!
— По делу... Среди нас были не только солдаты, но и гражданские — женщины и дети, это первое. Второе: уж чем-чем, а трусостью там точно не пахло. Разочарованием — да, растерянностью тоже, да даже глупой, пошлой надеждой, но уж точно не трусостью — на трусость там не было времени. Более того, некоторые отплывающие на прощанье кричали оставшимся на берегу большевикам «Ура!»
— И ты тоже кричал?
— Хотите приобщить к делу?
— Я тебя спрашиваю, Нестеренко, орал ты, падла, или нет? — Нет, конечно...
— Почему?
— Потому что уже тогда понял, что ничего общего с этими господами на кораблях я не имею. Я не чувствовал себя равным среди прочих. Помню, как несколько лет спустя, в Париже, сидя в кафе, многие пораженцы утверждали, будто в двадцатом году Россию покинули

удивительные, чистые и порядочные люди, однако это было вовсе не так...

— А как было?

— А было так, что в двадцатом году Россию (и число отчаливших прямо указывает на это) покидали люди ровно такие же, как и те, что оставались на берегу. На кораблях, что раненой змеей тянулись в Константинополь, бежал самый обыкновенный русский народ. Возможно, среди нас и присутствовали какие-то там богачи, фабриканты и князья, однако процент их оставался совершенно несущественным, потому что бежали все. Как бы вам ни хотелось, гражданин начальник, теперь переписывать историю, но конфликт был не классовый, а идейный...

— Ты хочешь убедить меня, что с вами бежал и простой русский мужик?

— Я вообще-то больше не очень-то хочу вас в чем-либо убеждать, гражданин начальник, я вижу, что это бессмысленно...

— Я задал тебе вопрос!

— Правда в том, что в двадцатом году всякий бежал народ, и богатый, и бедный...

— И что творилось на этих кораблях?

— Вам-то какая разница?

— Я последний раз тебя сегодня предупредил!

— На палубах наших творилось ровно то же, что и на земле — великая (с маленькой буквы) Россия. От себя ведь не убежишь! Всего за несколько минут на кораблях установилось привычное бесправие, то самое укоренившееся в русской земле бесправие, что веками не отпускало всех нас. До гальюнов невозможно было добраться — в них допускались только те самые, привилегированные и лучшие люди Империи. Мы же, простые и небогатые, вынуждены были ходить под себя...

— Даже офицеры?

— Даже офицеры, гражданин начальник, даже офицеры. Впрочем, я могу говорить только за наше судно. Быть может, на других кораблях дело обстояло принципиально иначе, но я в этом очень сомневаюсь...

— Ну так расскажи про свое!

— На нашем царила полная неразбериха. Стояла жуткая вонь. Пока одни сражались с морской болезнью, другие доедали то, что успели утащить с собой из разрушенного бегством порта. Все мы безуспешно искали питьевую воду, но ее конечно не было. Спали в проходах, а в это время в каютах те самые прекрасные и особенные русские люди, которых после в Париже восхваляли пораженцы, всю ночь глушили вино и орали песни. Поговаривали даже, что на нашем корабле завывал сам Вертинский, но я в это не очень-то верил — уж слишком плохо пел тот человек.

— Выходит, ты высадился в Константинополе?

— Да, но не сразу.

— Почему?

— В первые дни нас не выпускали на берег. Союзнический карантин. Во-первых, была эпидемия, во-вторых, шутка ли принять сто пятьдесят тысяч голодных ртов, которые нужно было чем-то кормить. Лысые женщины, короткостриженные дети и потерявшие родину мужики — армада вшей! Несколько суток мы ожидали разрешения союзников, но они продолжали медлить. Что с нами делать никто не понимал — кроме всего прочего, мы оставались какой-никакой, но все же действующей армией...

— Трусливой, разбитой армией!

— Может, и так, но расквартированные в Константинополе союзники по-настоящему опасались нас. Кто мог знать, что у нас в головах? Встречай, Царьград! Что если, сойдя на берег, мы решили бы взять хоть этот самый город?

— У вас бы это ни в коем случае не получилось бы, как и всё, за что вы брались! Ладно, показывай мне, что было дальше, а не что думали о вас ваши же союзнички!

— В конце концов нам разрешили сойти на берег, однако только в том случае, если мы сдадим всё оружие...

— И вы, конечно же, сдали?!

— А что нам оставалось делать? Там, в Константинополе, нас никто не ждал... разве что греки, эти мерзкие жулики на крохотных суденышках, которые, словно мухи на дерьмо, тотчас налетели на наши корабли.

— Зачем они налетели на корабли? Гробили вас?

— Нет, они выменивали еду на драгоценности. Как там говорится: друг познается в беде? Сколько лет нам рассказывали, что греки наши братья, что мы должны помогать им, приходить на помощь, что у нас общая культура, вера и прочая чепуха... На деле же оказалось, что турки относились к нам гораздо лучше...

— В чем это проявлялось?

— Ну уже хотя бы в том, что они разрешили самым предприимчивым из нас открыть в центре Константинополя десяток ресторанов, в которых русским женщинам позволялось работать официантками, а заодно и помогать местному населению лишаться девственности. В те дни мы шутили, что прежде чем положить в рот крошки хлеба, русская баба непременно кладет в него турецкий хер. Будь моя воля, я бы переименовал все наши суда во что-нибудь вроде «Скарлатины», «Тифа» и «Жриц любви». Развалившаяся империя поставила вдруг в Константинополь столько шлюх, что жены беев начали писать письма на имя губернатора с требованием выгнать из города русских проституток, которые оказались гораздо хуже и страшнее сифилиса и алкоголя...

— Что еще?

— Можно закурить?

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ДОПРОСА

«Что еще? Стоит ли мне рассказывать этому Перепелице, что в дни того печального путешествия, еще на корабле, пока одни бежавшие сражались с морской болезнью, а другие продолжали вылизывать яичную скорлупу, кому-то вдруг пришло в голову, протискиваясь между людьми, пронести по палубе корабельный журнал, в котором каждому желающему предлагалось ответить всего на один-единственный вопрос: «*Когда мы вернемся в Россию?*» Одни писали, что через полгода, другие, что через два, а я написал всего четыре строчки из Блока:

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Помню, что тот странный человек с журналом фыркнул, вырвал из моих рук карандаш и бросил что-то вроде того, что я не патриот, а он уже через несколько месяцев вернется в Крым. Вот же дурак... Судя по всему, этот комично храбрый пассажир не до конца понимал, куда именно он собирается вернуться...»

Народному комиссару по делам национальностей
тов. Сталину Копию в ЦК РКП(б)
Доклад б. члена коллегии Наркомнаца Султан-Галиева
о положении в Крыму

...Первой и очень крупной ошибкой в этом отношении явилось слишком широкое применение в Крыму красного террора. По отзывам самих крымских работников, число расстрелянных врангелевских офицеров достигает во всем Крыму от 20 до 25 тысяч. Указывают, что в одном лишь Симферополе расстреляно до 12 000. Народная молва превозносит эту цифру для всего Крыма до 70 000. Действительно ли это так, проверить мне не удалось.

Самое скверное, что было в этом терроре, так это то, что среди расстрелянных попадало очень много рабочих элементов и лиц, оставших от Врангеля с искренним и твердым решением честно служить Советской власти. Особенно большую неразборчивость в этом отношении проявили чрезвычайные органы на местах. Почти нет семейства, где бы кто-нибудь не пострадал от этих расстрелов: у того расстрелян отец, у этого брат, у третьего сын и т. д.

Но что особенно обращает на себя в этих расстрелах, так это то, что расстрелы проводились не в одиночку, а целыми партиями, по несколько десятков человек вместе. Расстреливаемых раздевали донага и выстраивали перед вооруженными отрядами...

14/IV/21 г.

г. Москва

б. член коллегии Наркомнаца Султан-Галиев

Люди постоянно твердили, что очень хотят поскорее возвратиться в Россию, что главное, чтобы путешествие это было коротким, однако, едва начал виднеться турец-

кий берег, случилась жуткая давка. Русскому народу всё равно где топтать друг друга, будь то Ходынка, крымская пристань или палуба корабля. Всем теперь не терпелось сойти на берег *во что бы то ни стало первым*. Четырех дней очередей в нужники оказалось достаточным, чтобы новоиспеченные эмигранты сошли с ума и позабыли о Родине...

— А ты что, не умеешь одновременно курить и говорить?

— Сейчас, гражданин начальник, сейчас!

— А то, может, тебе и чайку подать?

— От чая я бы не отказался, тем более мы завели разговор про Константинополь... Знаете, сколько там видов чая было! Я как-то был на рынке и...

— Показывай давай о высадке!

— А... о высадке... Короче, когда нам наконец разрешили сойти на берег, союзники обязали всех нас пройти через очищающий душ. Те, кто всё еще почему-то ощущали себя людьми привилегированными, принялись протестовать, ведь в Константинополе лил дождь и было холодно. Я же в тот момент даже порадовался — отрезвляющий душ был всем нам очень необходим...

— Дальше давай!

— Вообще-то всё это есть в моих дневниках...

Повсюду: вдоль берега, на улицах и в парках — валяются апельсиновые корки. Бесконечное множество выгоревших на солнце и затвердевших, словно содранные скальпы, фруктовых кож. Иногда мне попадаются пускай и несколько подгнившие, но все же целые апельсины! Константинополь оказывается городом грязным и бедным. Мы называем его Клопополь или Крысополь. Это место походит на одну большую помойку, в центре которой чудом сохранились несколько приличных улиц

с магазинами, посольствами и ресторанами. Жить здесь чрезвычайно дорого. Наш приезд приводит к росту цен. Даже за форменные лачуги требуют теперь непомерные деньги. Впрочем, нищие все: и мы, и разбитые турки. Хотя им всё же полегче. Местному населению выдается безвкусная выпечка из ячменя, овса и бобов. Процветает контрабандный рынок. Те из нас, кто умеет хорошо играть в карты, выигрывают консервы, остальным приходится совершать вылазки в город, чтобы, свинтив несколько медных дверных ручек, обменять их на кусок хлеба. Из всего прочего доступными остаются только вечные ценности: стакан вина — от трех пиастров, и распутные девицы (в зависимости от национальности и состояния) чуть-чуть дороже.

Век пораженных в правах. Город выброшенных на берег. Слово списанные корабли, все мы судна с развинченными нервами. Офицеры бронетанковой бригады становятся водителями местного маршрутного такси, а в кабаре «Черная роза» швейцаром работает наш бывший сенатор. На кухне «Эрмитажа» готовит ни много ни мало губернатор, а влиятельные в прошлом адвокаты теперь подносят ему лук и картошку. Экс-депутаты плетут корзины, а принцессы годятся разве что на разнос кофе. Профессора продают сигареты, и однажды, проходя мимо той же «Черной розы», я вижу веселого и пьяного Вертинского, который кричит: «Ах, сколько великолепных лакеев, услужливых метрдотелей и шоферов повыходило из нашей знати!» Прохожие осуждающе смотрят на него, а я нет. Всех этих людей я тоже не жалую. В случившейся Гражданской войне, в развале страны все мы виновны ничуть не меньше, чем захватившие власть большевики. Более того, мы допустили вековым бездействием своим, мы только и допустили, что это дерьмо сумело захватить власть. Выходит — мы были еще хуже этого дерьма...

- Ты вот это имеешь в виду?
- Да...
- А где здесь про Константинополь?
- Дайте найду...

В Константинополе я встречаю самых разных сухопутных и морских офицеров, греков, англичан и французов. Сипахи, сенегальцы, шотландцы. Всякий раз натываясь на солдат других стран, я стараюсь опустить глаза — мне стыдно за то, как я одет. Мою форму теперь украшают лишь заплатки и дыры. У многих из нас от грязи и бедности заводятся вши. Солдатам, конечно, проще — эти твари с нами давно, но вот барышням приходится нелегко. Хотя все без исключения русские женщины изображают, будто бы стригутся наголо без сожалений, я прекрасно понимаю, что потеря волос для женщины гораздо страшнее, чем утрата Родины. Турки называют такие прически — «русской головой». Впрочем, на моду влияет не только наш слабый пол, кое-что привносим и мы, беглые офицеры. Подглядывая за нами, местные франты щеголяют в одеждах с будто бы спортивными погонами. Элементы поражения тотчас становятся последним пискком. Кроме этого, мы дарим Константинополю веселье: любовь к купаниям и вкусной еде. Великое принуждение к наслаждению: тысячи русских женщин становятся местными проститутками, а десятки наших доблестных офицеров наркоторговцами, которые объясняют туркам, что в курительных и кальянных можно забываться не только гашишем, но и героином, который приносит с собой великая армия Врангеля.

- Куда ты в конце концов попал?
- Я оказался в одном из лагерей в Галлиполи...
- Сколько всего было лагерей?

- Три: в Галлиполи, в Чаталдже и один в Греции, в Лемносе.
- Гражданские были там же?
- В Галлиполи да. Сестры милосердия, дети, но немного — большинство осталось в Константинополе.
- В каком количестве?
- Не помню. Кажется, около шестидесяти пяти тысяч человек. И еще тысяч пять детей. Толком никто не знал...
- Чем они там все занимались?
- Кто чем. Работали грузчиками, продавали шнурки. Математики шли в ресторанные кассы, а про более-менее красивых женщин я вам уже рассказал.
- Турки натурально сходили с ума от наших баб...
- Но, значит, поселился во временном лагере в Галлиполи?
- Верно.
- И что за жизнь там была?
- Помнится, вы обещали доказать мне сегодня, что я шпион.
- Я спрашиваю тебя, что за жизнь там была?!
- Жизнь была самая скверная. Галлиполи — голое поле. Первые дни мы спали на земле и кормили собою скорпионов и змей, затем разбили палатки. «Квартиры» семейных офицеров больше напоминали разрушенные бомбардировкой здания: оливье из наваленных камней, досок и палок.
- У тебя было такое же?
- Нет, что вы! Я о подобном мог только мечтать — у меня же семьи не было, поэтому я спал в палатке.
- Ну и чем вы там все занимались? Вы начали строительство новой жизни или собирались вернуться?
- Единственным нашим постоянным строительством, гражданин начальник, было расширение кладбища. Гробы, венки...

— И на этом всё?

— Ну почему же всё? Мы соорудили сцену, поставили десять рядов длинных и кривых скамей и...

Построили театр. Выступают жены и дети. Кое-кто из офицеров. Ставят Гоголя, посягают на «Три сестры» и «Вишневый сад». Глупо, но, похоже, даже в самых не приспособленных к этому условиях русский человек пытается жить. Дают «Маскарад» — спектакль, премьера которого случилась в Петербурге в революционные дни, когда публика натурально бежала на представление под свист пуль. Все тогда смеялись и не понимали, что открываются кулисы не проходной комедии, но великой драмы...

Теперь здесь, на чужбине, казалось бы, самое время открыть глаза, но нет — мы умеем обманываться в любых обстоятельствах! Все эти бесполезные постановки вызывают в людях преступный энтузиазм. Впрочем, иногда сюда прихожу и я. Заняв последнюю скамью, я смотрю на сцену и ожидаю, что вот-вот случится сюрприз. Я почему-то верю, что конференсье непременно объявит, что прямо сейчас на сцене выступит непревзойденная Вера Нестеренко! Не знаю почему, но я отчего-то твердо убежден, что Вера взяла именно этот сценический псевдоним. Однако проходит день, два. Я смотрю на сцену, где топор рубит дерево и лопается струна, но, как и когда-то в Гатчине, Вера, с которой мы простились, сойдя на турецкий берег, не появляется...

— О, смотри-ка, Нестеренко, я нашел про театр!

— Да, я же говорил вам, что не вру...

Для особо заблудившихся открыта изба-читальня. Внушительная библиотека собрана из книг, которые, оказывается, мы привезли с собой. Сей факт меня совершенно обескураживает — вместо того, чтобы тащить

драгоценности (если есть), консервы и предметы быта, которые здесь могли бы пригодиться, эти люди перегружают корабли книгами! Многие с восторгом рассказывают об этом, считая подобное поведение проявлением лучших человеческих качеств, я же считаю это форменным безумием. Нашим беглецам не хватает здравого рационализма. В сущности, они не более чем позеры! Сперва эти люди теряют страну, потому что годами читают книги, а затем берут те же книги в эмиграцию, вероятно, чтобы перечитать...

— Ты писал этот дневник там или уже в Советском Союзе?

— Там, гражданин начальник, там...

— Значит, ты хочешь убедить меня, что у вас там, в Турции, не армия была, а театральный кружок? Что на Родину ты не собирался и с английскими офицерами не общался?

— Ну может, и общался когда-то в каком-нибудь кабаке, но разговоры эти были совершенно праздные. К тому же совсем скоро я оказался в Галлиполи, а там... считай, пустыня! Бедный ландшафт, например, способствовал проведению футбольных матчей. Нас было так много, что мы устраивали настоящие турниры, в конце которых всех футболистов собирали, чтобы сфотографироваться с каким-нибудь генералом, например Кутеповым...

— Ты тоже участвовал и фотографировался?

— Боже вас упаси, гражданин начальник! Вы видели, как я хожу? Какой из меня футболист?

Я и правда не фотографировался, но одну из тех съемок хорошо запомнил. Несколько десятков человек окружали генерала. Одни были в гимнастерках без рисунков, у других во всю грудь красовался двуглавый

орел. Пока фотограф готовился сделать снимок, пока все замирали с улыбкой, Кутепов зачем-то преступно подерживал людей:

«Господь послал сына своего, чтобы спасти нас...»

«А хули он сам не пришел?» — не выдержав, спросил тогда я.

«Что, голубчик?»

«Я говорю, хули он сына послал, а не сам пришел?»

«Не обращайтесь на него, пожалуйста, внимания, ваше превосходительство, он просто устал!»

— Ты говоришь, что был разбит лагерь, но все-таки для чего? Почему я должен поверить, что вы не готовились к возвращению в Советский Союз?

— Возможно, кто-то на этот счет и обманывался, но думаю, что всерьез говорить об этом уже не приходилось. Если хочешь вернуться домой — не нужно заплывать так далеко. С первых дней наше пребывание в Турции превратилось в трагикомедию. Армия без страны, солдаты без планов. Мы сдали корабли в обмен на палатки и маршировали теперь в идиотском стремлении сохранить боевую дисциплину, но никто особенно не понимал для чего...

— Как это не понимали для чего? Говорю же, вы готовились к новой атаке на Советский Союз!

— Да что за ерунда, гражданин начальник?! Мы сдали оружие и корабли... С чем бы мы поехали? С луками? С палками? К какой атаке? Уже в первые месяцы стало очевидно, что солдат просто нужно чем-то занять, иначе они начинали устраивать варварские вылазки в соседние села...

— Ты хочешь убедить меня, что мстить Советском Союзу не собирался?

— Да конечно нет! Мы были заняты освящением никому не нужных памятников, кладбищенскими служ-

бами, спортивными состязаниями. В Галлиполи мы открывали выставки художественной самодеятельности и увлекались театром! Наша строевая подготовка могла только наводить тоску. Время от времени связь с действительностью теряли не только солдаты, но и офицеры, которым по долгу службы следовало бы трезво оценивать ситуацию. Сам не знаю для чего, но они заставляли солдат заниматься скалолазанием! Вы представляете?! И без того обессиленные и павшие духом мужики вынуждены были взбираться по отвесной раскаленной скале.

— Зачем?

— Судя по всему, иногда для того, чтобы в полной мере ощутить собственное падение, нужно часами нелепо карабкаться вверх...

Не сводя глаз с меня, Перепелица вновь тянется к дневнику.

— Если вы будете все время смотреть на меня — вам будет сложно читать, гражданин начальник...

Жалкое зрелище: тысячи мужчин, которые не знают, чем себя занять, дробить больше трех раз в день надоедает, разглядывать чужой пейзаж — тоже. Игры? Театр? Все это, конечно, иногда интересно и может на полчаса отвлечь, но мы все-таки люди военные, а не дети. В этой жизни большинство из нас научены только двум вещам: заниматься коррупцией и значительно хуже этого воевать. Здесь почти нечего красть, здесь не от кого бежать. Мы умеем быть бравыми в ресторанах, но их здесь нет, а те, что остались в Константинополе, теперь далеко и не по карману. Никакие построения, тренировки и парады нас в действительности не спасают. Без реальных боевых действий у солдат остается слишком много свободного времени, а главное — мыслей. Лично

я, раз уж появляется такая возможность, стараюсь лучше узнать местную культуру. Например, наведываясь в ближайшие села, я узнаю, что много тысяч лет назад мертвых здесь хоронили под полом, но сперва трупы скармливали птицам или собакам. Всё это делалось для того, чтобы очистить кости от плоти. Здесь считалось, что таким образом душа избавлялась от всего лишнего и поднималась к солнечным лучам. Остатки скелетов собирали и несли в специальное костехранилище, однако делать это могли только люди особенные — носильщики трупов, которые до конца дней своих оставались грязными.

Если уж быть до конца откровенным — местные проститутки стали моим первым и единственным в жизни университетом. Эти женщины с удовольствием слушают мои рассказы о самолетах и в обмен на это плетут кружева собственных обычаев. Храня верность Вере, всё еще надеюсь, что однажды мы будем вместе, я не пользуюсь их телами, но получаю нечто большее — опыт. Так, например, от смуглой девчухи из Индии я узнаю, что в ее краях, возле реки Ганг, есть дорога костров, на которой кремируют покойников, разбивая их тлеющие черепа палкой. Она говорит, что именно в этот момент освобождается душа...

— Нестеренко, здесь у тебя в дневнике написано, будто толстая и потная женщина из Ост-Индии рассказывала тебе, что в ее стране с покойниками прощаются не сразу, что труп родственника может оставаться в доме до нескольких лет, что его мумифицируют, чтобы каждый день разговаривать с ним и даже спать, — это правда?

— Да, гражданин начальник. Теперь, когда я вспоминаю рассказ той проститутки, мне кажется, что этот обычай очень напоминает всех нас, живущих в СССР,

верно? У тебя есть родственник, каждый день ты беседуешь с ним, обедаешь, ужинаешь, а вскоре оказывается, что следователи уже решили его судьбу, как, например, мою, еще в 38-м...

— Никто, Нестеренко, за тебя твою судьбу не решал. Ты здесь только потому, что свою жизнь загубил сам!

— Интересно бы понять, в какой момент...

— В следующий раз узнаешь — на сегодня всё!

— В смысле?

— В коромысле! Проваливай отсюда!

Истеричка, а не следователь!

Между четвертым и пятым допросами проходит несколько недель. Все эти однотипно-бесконечные дни я вспоминаю то, что уже успел рассказать, и пытаюсь предположить, в какую именно сторону Перепелица поведет нашу следующую беседу. Самое сложное, милая, что я не знаю, в какой мы точке: первый ли у нас акт или кульминация? Готовясь к новому допросу, я понимаю только, что впереди меня ожидает непростой разговор. И я хочу хорошо подготовиться...

Киев, Харьков, Крым — что из всего вышесказанного заинтересовало его? За что он хочет зацепиться? Вокруг чего плясать? Конечно, уже одного того, что есть в доносах и вырвано из моей биографии, вполне достаточно, чтобы объявить меня человеком неблагонадежным и даже врагом народа, однако этого мой дорогой следователь почему-то до сих пор не делает. Если бы цель его заключалась только в этом, разве стал бы он тащить меня сюда, в Саратов, разве стал бы столько месяцев держать в тюрьме? Нет, если бы всё было так просто — он бы давно прекратил следствие и предложил бы расстрелять меня, но, вероятно, задача его заключается в чем-то другом. Именно поэтому мы всё еще продолжа-

ДОПРОС ПЯТЫЙ

ем встречаться и говорить. Все эти месяцы Перепелица талдычит, что я шпион. Но в этом ли его действительный запрос?

Из того, что теперь приходит на ум, вероятнее всего моего дорогого следователя заинтересовали солдаты разных стран, которых я встречал в Константинополе. При желании, наверное, он мог бы попытаться обвинить меня в том, что уже тогда, в 20-м, я был завербован одной из союзнических разведок, впрочем, думаю, даже ему понятно, что обвинение это легко развалить — ни итальянцам, ни уж тем более англичанам я был совершенно неинтересен. Какую пользу мог принести беглый русский офицер? Что я мог знать? Досье на кого собирать? На таких же горемык, как я? Те из нас, кто еще мог воевать и приносить пользу на фронте, записывались во французский иностранный легион, но хромых туда не брали...

Нет, что-то мне подсказывает, что в Галлиполи Перепелица задерживаться не станет, — в этой пустыне ему делать нечего. Он знает, что после Турции в моей жизни были Сербия, Польша и Франция, а значит, он непременно захочет отправиться туда...

— После Константинополя ты уехал в Сербию, верно?

— Да...

— Почему именно туда? Почему сразу не вернулся в Советский Союз?

— Моя служба в добровольческой армии Деникина являлась для меня большим позорным пятном, гражданин начальник. Я совершил тяжелое преступление перед Советской властью, поэтому, находясь в Константинополе, чувствовал себя недостойным носить звание гражданина Советского Союза. Именно это обстоятельство и заставило меня не искать пути возвращения...

— Нестеренко, ты что, не видишь, что я записываю? К чему ты опять с самого начала несешь всю эту ересь? Мне что, перед каждым допросом тебя сперва избивать?

— Я говорю правду, гражданин начальник...

— Правду?! Значит, ты хочешь, чтобы я во все это поверил и все это записал, да?

— Да...

— Манда! Я знаю, что ты выехал в Сербию с затаенной ненавистью к родине! Я знаю также, козлиная ты позорная, что в Сербии ты стал работать на иностранную разведку, и вот именно про это ты мне сегодня и покажешь, понял?!

— Да...

В этот момент сам не знаю почему я, наверное, впервые теряюсь. Перепелица вдруг меняется в лице. Новая маска. Из седла меня выбивает вовсе не обвинение (ничего нового в нем нет), но то, с какой пустотой и зазубренной советской интонацией говорит этот человек. Мне вновь начинает казаться, что этот Перепелица совершенно глуп. В момент этот я уже не могу различить — он действительно такой твердолобый баран или в который раз проверяет меня?

«Уж сколько месяцев я осторожен, но что, если я просто переоценил его? Быть может, слишком перестраховался? Что, если этот Перепелица и в самом деле такой нелепый новый советский человек? Что, если он из тупеньких? Быть может, зря я обманываюсь на его счет? Ведь так теперь походит на то, что он элементарный дурак. Хорошо ли это? Нет! Лучше бы он был умным, потому что, если окажется, что передо мной обыкновенный советский кретин, мне придется разыгрывать новую комедию. Смелостью, честностью и юмором такого персонажа не переубедить. Как мантру повторяя лишние всякого смысла обвинения, Перепелица вдруг открывается мне верным псом, способным до конца служить своему хозяину. Казалось бы, мы немного продвинулись, он узнал меня, проникся моей иронией и понял, что да, я не люблю людей, но не советскую власть, и вот... Лыко да мочало — начинай сначала! Внимательно разглядывая его, я чувствую теперь отголоски тревоги, ведь сложно понять, что у этого узколобого человека в действительности на уме...»

— Намерен ли ты, Нестеренко, наконец прекратить свое бесполезное запирательство и начать рассказывать о своей предательской шпионской деятельности против СССР?

«Понятно... Вот он — его метод. Долбить, долбить и еще раз долбить! Не следователь, но шахтер! Все в этой стране хотят быть великими тружениками. Изодня в день месяцами повторять одно и то же, чтобы как на глубине выбить однажды из меня, как из земли самой, признание...»

— Гражданин начальник, дорогой вы мой, я повторяю, что никакой шпионской работы против Советского Союза не проводил, и все эти месяцы говорю вам правду!

— Правду? Мне известно, Нестеренко, что ты выехал за границу со специальными заданиями главнокомандующего вооруженными силами юга России. Почему ты не показываешь об этой работе на белых?!

— Это не так! Я показываю правильно! Если вы о Белграде, то по прибытии в Сербию в 1921 году я решил начать новую жизнь и искал работу по технической специальности, надеясь, что рано или поздно буду вновь летать...

— Почему же ты не летал?

— Никакой работы в Сербии я так и не нашел. В связи с этим выехал в Болгарию, где мне предложили временно быть комендантом гостиницы.

— И ты думаешь, я в это поверю?

— Послушайте! Это же легко проверить! Отель этот состоял на учете военного представительства денкинской армии. Там я и работал. Как-то раз в гостиницу эту прибыл помощник начальника авиации белой армии Баронов и рассказал мне, что и в Сербии, и в Болгарии имеется авиационное имущество, вывезенное из России во время революции. Баронов предложил мне заняться оформлением и отправкой этого имущества на юг белой армии, на что я дал тогда свое согласие...

— По-твоему, это не предательство?

— По-моему, в тех обстоятельствах, никак нет...

— Но ты ведь собирался воевать против Советского Союза!

— Нет. Я всего-навсего старался чем-нибудь себя занять. Вечно следить за тем, чтобы гостиница не развалилась, мне, офицеру и летчику, не хотелось.

— Ты выполнил это задание генерала Баронова?

— Нет.

— Почему?

— Потому что сербские и болгарские власти отказались передать Деникину самолеты до восстановления нормальных дипломатических взаимоотношений с Россией...

— И чем же ты тогда начал заниматься?

— Первые два месяца, как я уже показал, служил комендантом гостиницы...

— Коменданты у них занимались тем же, чем и наши?

— В смысле?

— Как Блохин?

— О господи, нет конечно! Кого же там, в гостинице, расстреливать? Нет, в Болгарии я занимался только тем, чем и должен был, — решал технические вопросы...

— Ясно, показывай дальше!

— Работа эта меня совсем не радовала. Город мне не нравился, болгары тоже. В связи с этим через некоторое время я возвратился в Сербию и поступил вольнонаемным механиком сербской военной авиации, однако уже в 1923 году принял решение переехать во Францию...

— Почему?

— Потому что понял, что в Сербии, как и когда-то в России, мне более делать нечего. Сербы не очень-то спешили нам помогать...

— Значит, ты уехал во Францию?

— Верно.

— Чем занимался там?

— Первые несколько недель работал чернорабочим, так как имел только транзитную визу. Затем поселился в Версале и, получив нормальное удостоверение для политэмигрантов, устроился на фабрику электроприборов. После этого работал на заводе «Рено», и мне даже нравилось, некоторое время я производил аэропланские части, однако задерживаться там не стал, потому что мне предложили работу мечты...

— Это какую же?

— Я начал работать шофером в такси.

— Почему это работу обыкновенным таксистом ты называешь работой мечты?

— Потому что о такой работе можно только мечтать...

— Таксисты у них в почете, что ли, были?

— Я зарабатывал на хлеб и стакан молока.

— Понятно. Тогда показывай мне, в каких белоэмигрантских организациях ты состоял в Париже?

— Не уняться вам все никак, да? Повторяю, ни к каким белоэмигрантским политическим течениям я не примыкал и ни в каких организациях участия не принимал!

— Уверен?

— Да! Единственное... еще до Парижа, примерно в конце 1921 года, когда в Сербию из Польши прибыл представитель Савинкова и вербовал специалистов белой армии, я в числе других офицеров дал свое согласие на вступление в его ряды и выехал в Варшаву...

— Ты у нас прямо лягушка-путешественница, Нестеренко! Еще и в Варшаву успел съездить? Зачем?

— Мне предложили жалованье, к тому же Варшава — это ведь был почти дом. Я думал тогда, что неплохо проведу время, смогу быть поближе к России и в конце концов вернуться на Родину, однако по прибытии в Польшу я понял, что белая армия совершенно развалена, и уже через два дня выехал обратно в Сербию...

— Сербия, Болгария, Польша, и везде ты, Нестеренко, пытался сражаться с Советской властью!

— Нет, я везде старался начать новую жизнь! Бесконечность попыток, гражданин начальник, только и всего... Ко времени, о котором теперь идет речь, сражаться я давно и ни с кем не хотел. Вот, покопайтесь в моих дневниках — я об этом тоже писал...

Варшава — сплошное разочарование. Висла не впечатляет, безликий город тоже. Варшава холодная, неподвижная и, как и вся бесконечная Польша, серая. Провинция. О савинковцах мне и вовсе нечего сказать. Сизые, мутные, кажется, эти люди еще более наивны, чем русские офицеры в Галлиполи. Сегодня, например, мне предложили дать присягу следующего содержания:

«Клянусь и обещаюсь, не щадя ни сил своих, ни жизни своей, везде и всюду распространять идею Народного Союза защиты Родины и Свободы; воодушевлять недовольных и непокорных Советской власти, объединить их в революционные сообщества, разрушить советское управление и уничтожать опоры власти коммунистов, действуя, где можно, с оружием в руках, где нельзя — тайно, хитростью и лукавством...»

Кто автор этого комичного текста? Как можно предлагать его русскому офицеру, который был на передовой Великой войны, прошел войну Гражданскую и вынужден был покинуть Родину?

Я спрашиваю у офицеров: что будем делать? Они отвечают, что разрушать Советскую власть. Как, спрашиваю я? Разжигая ненависть к большевикам! А конкретнее? Путем террористических актов против угнетателей...

Что тут скажешь? План всегда один — террористическими актами большевиков к власти приводят, теперь, похоже, собираются убирать... Без меня, господа, без меня...

— Все это, Нестеренко, ты писал, чтобы подстраховать свой зад! Я читал твои дневники — у тебя на любой случай есть отписка! Мне известно, сучий ты сын, что, будучи за границей, ты принимал активное участие в белоэмигрантской организации, которая вела борьбу против Советской власти. Почему ты все время скрываешь это?

— Действительно только то, гражданин начальник, что иногда я поддерживал связь с участниками различных белогвардейских организаций, интересовался их деятельностью, но лично ни к каким организациям не примыкал...

— А как это ты мог поддерживать с ними связь?

— Да очень просто! Одних видел на заводе, других в кафе. С некоторыми делил тарелку...

— В каком смысле?

— В прямом. Комната, которую я снимал в Париже, была пустой. Какую-никакую мебель я нашел на помойке — стул, стол, некое подобие кровати, а вот посуда...

Сегодня я впервые спал на новом, найденном вчера диване. Все хорошо, но есть одно но — из центра торчит пружина, которую я вынужден обхватывать ногами...

— В общем, с мебелью проблем не было, а вот чашки и тарелки... на помойках они, как правило, битые. Кто же станет выбрасывать целое блюдо, правда? Найти что-то сохранившееся и годное не представлялось возможным, покупать казалось глупостью и расточительством. В связи с этим мы, русские, часто обедали вместе. Я ждал, пока кто-нибудь из знакомых доест, затем мыл его тарелку и тогда уж обедал сам...

— Стоило ради этого бросать родину?!

— А что здесь такого? В ресторанах вам тоже подают мытую посуду...

— Я по ресторанам не хожу, Нестеренко!

— И очень зря! Даже в Москве иногда бывает вкусно...
— Тебе виднее! Ты у нас по ресторанам ходишь!

— И вам, кстати, рекомендую! Это делает людей добрее. Как тут, кстати, в Саратове с ресторанами, хорошо?

— Советские люди, гнида ты, сейчас все силы тратят на борьбу, а не на гулянки! Продолжай показывать относительно своей жизни во Франции!

— Если хотите — я мог бы посоветовать вам несколько неплохих бистро в Париже...
— Нестеренко!

— Ладно, ладно вам... После поездки в Варшаву, а также после времени, проведенного в Сербии, я убедился, что белое движение окончательно провалено. В Париже я понял, что вести какую бы то ни было борьбу с Советской властью более не имеет смысла, а потому выбрал жизнь обыкновенного таксиста, мечтая однажды вернуться на родину...
— И поэтому ты начал писать доносы?

— Доносов я никогда не писал...
— Однако информацию о белой эмиграции собирал и нашим сотрудникам передавал, верно?

— Кое-что рассказывал, да...
— Давай мне тут без этого великодушного «кое-что рассказывал, да». Показывай, как ты стал одним из наших информаторов!

— При читателе?

Кажется, тебе действительно лучше выйти. Даже странно, что всё это время Перепелица позволил тебе слушать. Если и есть вещи, которые никогда не изменятся, так это методы вербовки. Уверен, и в 1960-м, и в 1980-м обращать в свою веру чекисты будут ровно так же, как в двадцатые годы в Париже. Даже спустя

век, в 2020 году, страницы моего дела, в которых будет описан процесс вербовки, останутся закрыты специальными бумажными конвертами. Многое в России изменится, а кое-что никогда. Кстати сказать, отксерокопировать мою последнюю прижизненную фотографию тоже будет нельзя. Так что вот она:



— Значит, ты стал нашим информатором?

— Можно и так сказать, да...
— И при этом продолжал работать в такси?

— Верно.
— Это было какое-то русское такси?

— Из семнадцати тысяч зарегистрированных в Париже машин три тысячи обслуживали русские эмигранты, так что можно сказать, что да, что русское...
— Я имею в виду, что ты развозил только русских?

— А, вы в этом смысле? Нет, конечно, на что бы я тогда жил? Нет, я развозил всех: и приезжих, и парижан. Среди них, конечно, попадались и наши бывшие вельможи, но в основном это были французы. Впрочем, под-

сживались и иностранцы. Например, однажды в мою машину сел сам Фицджеральд!

— Это президент Америки?!

— Нет, это писатель.

— Кого еще подвозил?

— Да много кого. Например, Махно...

— Махно?!

— Да.

— И о чем он с тобой разговаривал?

— Да особенно ни о чем. Человек, который еще пару лет назад навел ужас на целую страну, был мертвецки пьян. Всю дорогу он жаловался на усталость и плохое самочувствие. Если честно, я даже не понимал, говорил ли он со мной или просто бредил. Махно непрерывно ныл, что испытывает жар, что ему совсем не нравится в Париже, что он отдал бы всё на свете за одну только возможность вернуться в сердце анархизма — в свое родное Гуляйполе.

— Тебя послушать, так ты не таксистом работал, а личным шофером знаменитостей!

— Да если бы! В Париже я вращался среди самых простых людей...

— Подробнее! С кем ты общался? С кем дружил?

С кем я дружил? Сложно сказать... Можно ли, например, назвать другом старика, который едва ли не каждый вечер садился в мое такси? Всякий раз он ждал, когда я допью свой стакан молока, и только после этого довольно комично ковлял в сторону моей машины. Назвав адрес, который я и без того сразу выучил, глядя в глаза Парижу, чем-то напоминавший моего отца пассажир непременно начинал вести со мной беседы:

«Я знаю, о чем вы думаете...»

«И о чем же?»

«Вы хотите разобраться, почему Россия дошла до всего того, до чего дошла...»

«Я думаю, что разобраться в этом довольно сложно... Причин, надо полагать, много...»

«Нет, голубчик! В действительности все очень просто! Это как дважды два! В России, мой дорогой, всё так, потому что недопустимое — допустимо! Мы с вами покинули страну, в которой нет алармистов. Всякий раз, когда нужно сказать: “Хватит!” — русский человек говорит: “Да, дальше так продолжать нельзя, но, если подумать...” Одна из главных проблем России — союз “но” и запятые. Мы привыкли ставить запятые там, где давно пора поставить точку!»

«Простите, но я не очень понимаю, что вы имеете в виду...»

«Очень даже понимаете! Я имею в виду, что вместо того, чтобы поставить точку, мы вечно ставим запятую и продолжаем! Да, убивать нельзя, но... Да, пытаться нельзя, но... Да, мы понимаем, что преступно неправы, но... Но, но, но! После убийства старухи и ее беременной племянницы (сестры?) Достоевский обязан был поставить точку, но он совершил преступление — преступление не менее отвратительное, чем то, что сделал его персонаж! Достоевский решил оправдать Раскольникову. Вот в чем наша беда! Слишком часто мы стараемся понять то, что понимать не нужно! Мы оправдываем то, что оправдывать нельзя! Мы копаем, и копаем глубоко там, где копать не следует вовсе! Есть границы, за которые даже в желании пофилософствовать переступать нельзя! Недопустимое — недопустимо! Прежде чем начинать обустривать страну, прежде чем пытаться жить заново, всем нам надобно написать декларацию, которая будет начинаться именно этими словами — недопустимое — недопустимо, мой дорогой!»

«Приехали...» — констатировал я.

— В Париже, гражданин начальник, как, собственно, и в других городах, я вел довольно затворнический образ жизни. Не было у меня ни особенных знакомых, ни каких бы то ни было друзей. Если честно, я мало с кем общался. Даже если я и бывал в кафе, то только для того, чтобы остаться наедине с собой — вы ведь знаете, что иногда среди людей это сделать гораздо проще...

— Слушай, басенник, хватит мне тут мозги пудрить! Я спрашиваю тебя: с кем ты общался в Париже? Давай, фамилии называй!

— Говорю же, что никаких друзей у меня не было! Разве что один осетин. Его звали Гайто. Вместе мы работали на заводе «Ситроен», вместе же после крутили баранки. Именно я рассказал ему о возможности работать в такси...

— А фамилия у этого осетина была?

— Да, Газданов...

— И почему вы дружили?

— У нас было много общего. Он, как и я, хорошо знал Украину, какое-то время служил в белой армии, затем, как и я, ушел из Крыма, ютился в Турции и в Болгарии. Именно ему, Гайто, я передал свой автомобиль. Хороший был малый, смывленный, несмотря на катастрофическое, как и у всех нас, положение, умудрялся слушать курсы в Сорбонне...

— Сорбонна — это что?

— Это университет такой...

— Известный?

— Можно и так сказать...

— Для эмигрантов?

— Для эмигрантов мысли, да...

— Ясно. Продолжай!

— Вы меня сбили... о чем я показывал?

— Об осетине. О том, что он находил время на учебу...

— А, да. Гайто всё мечтал написать книгу. Уж не знаю, случилась ли она у него или нет, но если да — уве-

рен, в ней буду и я. Кстати, думаю, что я тоже мог бы написать роман...

— Какой еще роман, Нестеренко?

— Да хоть какой! Лично у меня нет сомнений, что недурственная получилась бы книжонка! Согласитесь, гражданин начальник, столько событий для одной жизни! Война, революция, ранение! Париж, Варшава, Москва! Жаль, что я не умею писать. Вообще, это немного грустно, что люди, лишённые всякого литературного таланта, не берутся за книги... Нет, конечно, многие берутся и даже становятся известными, но я скорее о тех, кто мог бы стать писателем, но отчего-то молчит. Я вот человек простой, скромный, и я не пишу. Ну разве что дневники, но кому, кроме следователя Перепелицы, они интересны? Если честно, я больше люблю читать, но коли задуматься: какое количество по-настоящему великих романов до сих не написано, а?! Вот тот же Гайто — ну совершенно не умел составлять слова в предложения, однако ничего, вечно твердил мне, что однажды обязательно издаст роман. Думаю, что писателями становятся еще до того, как закончена первая рукопись. Писатель — это прежде всего смелость и бесстрашие, а уж только потом талант и текст...

— Нестеренко!

— Знаете, о чем бы я написал?

— Да мне плевать!

— Понимаю... И все же... думаю, будь у меня дар, я описал бы родной дом. Я нарисовал бы людей, которые меня окружали, вывел бы портреты отца и матери, сделал бы наброски братьев и сестер. Я описал бы часы, когда все они вместе молились и говорили о боге, а еще я бы непременно сочинил бы что-нибудь о солнечном луче, что в воскресный день всегда освещал нашу комнату, как огонь. Может, конечно, так было и не всегда, но мне почему-то наш дом именно таким запомнился,

гражданин начальник, перманентно освещенный солнечным лучом...

— Нестеренко, ну помолчи, а?! — словно школьник, совершивший ошибку, что-то зачеркивая на листе бумаги, ворчит Перепелица...

— Ладно, ладно...

Пусть правит, милая. В конце концов, мне тоже нужно время, чтобы перевести дух. Говорить в такой манере не так уж и легко. Строить из себя бесстрашного весельчака гораздо сложнее, чем в действительности быть таковым. Если бы все эти месяцы я позволял себе оставаться самим собой — он бы давно расстрелял меня.

— И все же знаете, гражданин начальник, будь у меня хоть какой-нибудь самый маленький литературный талант — я непременно изобразил бы незавидную жизнь в училище и молодые годы, когда, несмотря ни на что, я умел смеяться и радоваться жизни. Я описал бы войну и революцию, побег и будни в Париже, где навсегда попрощался с молодостью и превратился в скептика. Или в циника? Одиночество, вести ниоткуда, ничей дневник. Как бы я назвал свою книгу? Не знаю, но...

— Нестеренко, заткнись!

— Слушаюсь...

Знаешь, милая, думаю, я описал бы мужчину, которому приходилось платить по 60 франков в день за аренду такси, а к тому же покупать горючее, оплачивать страховку и ремонт. Я описал бы эмигранта, который проводит за рулем по 14 часов в сутки, но не тяготится этим, потому что всё, о чем он мечтает, — подвезти однажды свою любимую. Да, думаю, да... думаю, я постарался бы выписать мужчину, у которого была Вера — Вера, которая всё-таки его нашла!

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я, нижеподписавшийся Перепелица Павел Андреевич, состоя на службе или будучи уволенным, настоящим обязуюсь:

хранить в строжайшем секрете все сведения и данные о работе органов и войск НКВД, ни под каким видом не разглашать их и не делиться ими даже со своими ближайшими родственниками и друзьями.

Если я буду заниматься литературой или сценической деятельностью, обязуюсь ни в коем случае не разглашать прямым или косвенным путем, а также в печати (периодической и непериодической), сценариях, литературных и т. п. диспутах и отдельных выступлениях, сведений об агентурно-оперативной работе ВЧК-ОГПУ-НКВД в прошлом и настоящем, а в тех случаях, когда вышеуказанные материалы уже в виде рукописей подготовлены к изданию, не продавать изданиям без согласия на то соответствующих органов НКВД, передавая все перечисленное на предварительный просмотр и санкцию вышеуказанных органов.

Невыполнение всего вышеизложенного грозит мне ответственностью по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Ты села в такси с каким-то мужчиной. Опять. Он был немолодой, на этот раз с изгарью в волосах. В первое мгновение мне почему-то показалось, что он был испанцем, говорящим по-французски. Это так? Я помню, что его выдавали шипение и хрип. В зеркало заднего вида я видел, как едва заметно его язык прижимался к небу и верхним зубам. Твой спутник был мертвецки пьян. Еще не узнав меня, как самого обыкновенного парижского таксиста, ты попросила меня помочь. Как когда-то на пристани в России, ты спокойно сказала: «Помогите нам». Помню, что в тот момент я даже улыбнулся

и хотел ответить: «Ну вот, видишь, милая, ты ничего не можешь без меня!» — но, конечно, я промолчал. Я согласился оказать услугу, и, когда ты вдруг разглядела меня и поняла, кто стоит перед тобой, радостно сказала: «Подожди меня внизу!»

Перед тем как закрыть дверь своей квартиры, ты не дала мне денег, но погладила по щеке и поцеловала в переносицу. Если честно, в миг тот я подумал, что ты просто не хочешь платить, но ошибся. Ты спустилась с чемоданом!

«Я не заплатила, потому что мы еще не доехали до тебя...»

Чудеса! В ту ночь, ничего не объясняя, без лишних слов, ты переехала ко мне. Вера вернулась! Без выяснений отношений и бесконечного перечисления ран, без обид и ругани. Мы уснули в моей комнате на последнем этаже с видом на крематорий, и в ту ночь я думал, что во всем Париже нет людей счастливее.

«Как тебе удалось заполучить такое уютное место?» — следующим утром пошутила ты.

«Я долго выбирал его, как тебя...»

«Ты меня никогда не выбирал!»

«Выбирал!»

Наверное, всю первую неделю я просыпался по нескольку раз за ночь. Мне все не верилось, что ты рядом. И спустя месяц, и спустя два, несмотря на то что мозг мой, казалось бы, давно должен был привыкнуть к новым обстоятельствам, я открывал глаза, чтобы только взглянуть на тебя. Больше всего на свете я опасался, что ты опять захочешь сыграть в прятки.

Чтобы не спугнуть собственное счастье, я не говорил с тобой ни о прошлом, ни о будущем. Язык наш теперь был предельно прост. В нем не было ни времени прошед-

шего, ни времени будущего — в нашем с тобой языке было теперь только время настоящее и незавершенное.

Я больше не говорю «я был», я больше не говорю «я буду» — теперь я всегда говорю только «я есть».

Мы гуляли по набережной Сены и читали книги, слушали пластинки, которые нам давали всего на один вечер, и летали на самолетах, которые я описывал. По утрам, нежась в кровати, из которой всё еще торчала пружина, поцеловав меня, ты громко смеялась, вставала на ноги и, возвышаясь надо мной, словно колосс, с воодушевлением и задором говорила:

«Знаешь, Петь, в начале каждого без исключения спектакля, едва крылья кулис разлетаются к порталам, я выхожу к рампе и выбираю в зале всего одного зрителя — этому приему меня научил один драматург еще в Киеве...»

«Ты любила его?»

«Я всегда любила только тебя, глупый! Так вот, знаешь, всякий раз, выходя на сцену, я выбираю в зале всего одного зрителя, и только тогда — только тогда, Петь, по-настоящему начинается спектакль! Спектакль всегда начинается только тогда, когда актер находит в зале всего одного зрителя!»

«Почему актер это делает?»

«Потому что историю можно рассказать только одному человеку и никогда всем, если история не тронет одного, она точно не тронет никого!»

«И этот зритель я, да? Я единственный зритель, для которого ты играешь, верно?»

«Да!»

«Да, я всегда сижу в первом ряду, и, выходя на сцену, ты всегда находишь меня глазами и только тогда начинается спектакль, да?»

«Да, любимый, и только тогда начинается спектакль! Подай мне, пожалуйста, пудру...»

Сегодня Вера рассказала мне, что всякий раз, выходя на сцену, актер выбирает в зале всего одного зрителя, и только тогда по-настоящему начинается спектакль. Верочка рассказала мне, что историю можно рассказать только одному зрителю, что актеры знают это и всегда рассказывают ее только одному и никогда всем, ибо, если попытаться рассказать историю всем, она точно не тронет никого...

Помнишь, ты сказала мне: «Подай пудру...»

Ты сказала это по-русски, и, услышав тебя, я на мгновение замер. Разглядывая тебя, я понял вдруг тогда, что совершенно переменялся. Не запятая, но точка. Действие законченное, свершившееся.

Я должен быть счастлив, но чувствую страх. Кажется, в моей жизни наконец все налаживается, но я ощущаю пустоту. Что-то во мне навсегда сломалось. Я есть самолет, который еще можно разобрать на запчасти, но он уже никогда не полетит. Я ржавчина, которой суждено стоять на окраине аэродрома. Где-то там, глубоко в груди, постоянно давит. Мне кажется, что повсюду ямы. Я боюсь упасть, гуляя парижскими улицами, я боюсь свалиться в Сену или провалиться в незакрытый люк. Вокруг неожиданно совершенно в моей жизни наступил какой-никакой, но все же спокойный мир, однако я чувствую, что эта тишина предвосхищение нового боя. Я смотрю в ее серые глаза, и мне постоянно страшно. Я очень устал. Мне хочется отдохнуть, мне хочется вернуться домой. Мне хочется быть ребенком и сесть на колени к предавшему меня отцу. Мне хочется, чтобы отец обнял меня. Мне страшно, что прилетит новый осколок,

я знаю, что этот дикий век не любит меня. Перманентно я ожидаю беды. Я боюсь, что меня выдворят из Франции, я боюсь, что не смогу работать. Мне ежеминутно боязно, что Вера опять бросит меня и где-то там, далеко-далеко в России, умрут отец или мать, а я не смогу приехать на их похороны. Я стараюсь говорить только в настоящем времени, потому что меня страшит будущее, и, конечно, потому что каждый день всё отчетливее я понимаю, как, словно болезнь, мутное прошлое поедает меня. Я знаю, что ничего хорошего мне ждать не приходится, что за новым поворотом всего-навсего мое прошлое, а значит, беда...

В то утро ты сказала слово «пудра» по-русски, но революция и война, эмиграция и Париж сделали так, что я услышал его по-французски. Очнувшись словно, я выполнил твою просьбу, но осознал вдруг, что отныне и всегда, отныне и всегда теперь буду слышать это слово по-французски. Война сделала из меня человека, который слышал слово «пудра» по-французски, потому что по-французски слово «пудра» означало порох.

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Перепелица Павел Андреевич, родился в 1913 году в селе Титовка, Шебекинского р-на, Курской области в семье рабочего.

В 1929 году окончил семилетку и в этом же году поступил в Воронежский геолого-разведывательный техникум. По окончании второго курса техникума Воронежским обкомом комсомола был мобилизован на исследовательскую работу магистрали Москва — Донбасс, где проработал до сентября 1932 года.

После окончания техникума Воронежским Обкомом Комсомола был послан на работу в политотдел Шебекинской МТС, где проработал в качестве замредактора

ДОПРОС ШЕСТОЙ

политотдельской газеты «За коммунизм» до сентября 1934 года.

В 1934 году поступил учиться на горный факультет Харьковского инженерно-экономического института, который окончил в 1938 году, без защиты диплома (диплом защищал в 1940 году, то есть уже во время работы в органах НКВД). В марте 1938 года ЦК ВКПб был мобилизован в органы НКВД.

В сентябре 1938-го окончил Центральную школу НКВД, после чего был направлен в Центральный аппарат НКВД СССР, где работаю по настоящее время. В комсомоле состоял с 1926 по 1938 год. В партии с сентября 1939 года.

Жена — студентка Московского института иностранных языков. В настоящее время обучение прервала.

Дочь — один год, сын — новорожденный*

Провалившись в воспоминания, я не замечаю, как заканчивается пятый допрос. В тот поздний вечер Перепелица больше пишет, чем говорит. Я смотрю на «ресницы» его кабинета и вспоминаю Париж. Когда меня выводят из камеры, мне так радостно и тепло, что я даже придумываю себе игру, обманываясь, будто ведут меня не коридорами саратовской тюрьмы, но бесконечными парижскими катакомбами. Впрочем, место-то, по сути, одно, даже табличка парижская нам здесь бы подошла: «Остановитесь, тут царство смерти».

В ночь после пятого допроса я засыпаю совершенно счастливым человеком, потому что непрерывно думаю о тебе, моя милая...

* *Молодой отец! Поздравления!*

— Гражданка Юркевич показала, что ты, Нестеренко, будто бы хотел построить на территории Донского кладбища взлетно-посадочную полосу. Это правда?

— Мы же в прошлый раз остановились на Париже...

— На чем мы остановились — я и без тебя знаю! Так что, правда это?

— Да...

— А для чего ты хотел построить взлетную полосу на кладбище?!

— Только представьте себе, гражданин начальник: Московский крематорий, а при нем аэродром! Со всего Союза мы принимали бы тела и, буквально за полтора-два часа кремировав их, после поднимали бы самолет в небо и развеивали бы прах над столицей! Ну разве не прекрасная идея, а?

— Ты сейчас серьезно?!

— Да!

— Ты полагаешь, в этом была необходимость?

— Я полагаю, в этом была бы красота!

— Зачем хоронить красиво?

— Затем, что смерть определяет жизнь! Ритуалы прощания характеризуют нас. Советские похороны страшны и убоги. Они наводят ужас на людей!

— Что ты несешь?

— Наши похороны некрасивы. Все эти красно-черные крепы... Да красного цвета на похоронах вообще не должно быть! Он же сильный, яркий, отталкивающий и грубый! Необходимы другие тона! Синий и молочный. Нужны цветы, но не гвоздики, а лилии! Нужны красивые катафалки, а не лафеты...

— Зачем?

— Вы не понимаете, гражданин начальник, человек всегда будет за ту власть, которая устроит ему красивые похороны...

— Человек, Нестеренко, всегда будет за ту власть, которая позволит ему достойно жить!

— Жизнь коротка... Даже если она и убога, то коротка, а смерть вечна. Смерть, в отличие от жизни, то, что остается с нами навсегда. Похороны гораздо важнее дня рождения. Похороны — последний праздник перед бесконечностью! Так убого встречаться со вселенной, как это делают советские люди, ни в коем случае нельзя...

— Значит, ты утверждаешь, что хотел построить целый аэродром для того только, чтобы красиво развеивать прахи коммунистов над Москвой?

— Да, а для чего же еще?

— А для чего еще — это я тебе уже совсем скоро объясню, но прежде расскажи мне все-таки, кто и как помог тебе вернуться в Советский Союз?

— Любовь к Родине!

— Не что, а кто!

— Да особенно и никто...

— Нестеренко, я повторяю вопрос: как ты смог вернуться в Советский Союз?

— Находясь в Париже, я отправил несколько писем своему знакомому Ване Лойко, который в 1923 году улетел из Сербии сюда. В этих письмах я попросил его, если будет такая возможность, побывать в Москве и узнать,

как мне можно ускорить процесс получения разрешения на въезд в СССР...

— Кто такой Лойко?

— Лойко Иван Александрович, в прошлом полковник белой армии, эвакуировался вместе с оставшимися военными частями в Сербию. Вместе с ним я работал на одном аэродроме сербской военной авиации. В 1923 году он совместно с военным летчиком белым эмигрантом Качаном на сербском самолете «Бреге» бежал через Румынию в Советский Союз...

— Они угнали самолет, что ли?

— Ага...

— Допустим, я в это поверю, но как же ты установил с ним связь?

— Еще проживая в Версале, я узнал, что белый эмигрант, летчик-наблюдатель Загоруйченко получил от Лойко письмо, в котором тот сообщал свой адрес. Я воспользовался этим случаем и написал в СССР письмо Лойко. На это письмо он мне ответил, после чего я с ним поддерживал систематическую письменную связь вплоть до выезда в СССР...

— А по приезде в СССР ты с Лойко встретился?

— По приезде в СССР я написал ему два письма, но встретиться с ним мне так и не удалось...

— За сколько лет?

— Да...

— Не кажется ли тебе это странным, Нестеренко?

— Да нет, просто не встретились как-то — и всё: страна большая, дел много...

— И ты полагаешь, что я поверю в это?

— Да, гражданин начальник. Думаю, вы заметили, что говорю я с вами прямо и никогда не вру. Сурового наказания я не боюсь, потому мне нечего от вас скрывать...

Разве что то, что в действительности заставило меня вернуться...

В первые месяцы нашей совместной жизни, даже не смотря на страхи, что перманентно атаковали меня, я не допускал такой возможности. Напротив, кажется, я пытался убедить себя, что счастье возможно, что подобное бывает, что даже я, непутевый Петя, заслуживаю любви!

Мне теперь надобно забыть все ужасы войны и всецело сосредоточиться на быте новом, на быте французском. Никогда не поздно начать все сначала. Была жизнь русская, но не более того. Мне не следует ныть и опускать руки, ведь, если вдуматься, многие пострадали гораздо серьезнее меня! Если хорошенько всё взвесить — у меня всё очень даже хорошо. Я начинаю новую жизнь, и Верочка дает мне столько сил, что я непременно со всем справлюсь!

Каждый день я убеждал себя, что пройдет немного времени, я поработаю таксистом, а после обстоятельства непременно изменятся, и мне (теперь я в этом почти не сомневался) обязательно разрешат летать.

Всё еще будет хорошо, главное — ничего не забывать и каждый вечер, пускай и в мыслях, совершать плановый полет...

О возвращении в Советский Союз я старался не думать. Мысли подобные запрещал и хоронил, а потому, когда однажды ночью старик на заднем сиденье моего такси вдруг начал меня вербовать, я только улыбнулся.

«Я хочу предложить вам сотрудничество, молодой человек...»

«Почему только теперь? Я подвожу вас домой уже несколько месяцев...»

«Я проверял вас...»

Покачиваясь от поворота к повороту, время от времени оглядываясь на Париж, старик начал объяснять, что у меня появился шанс загладить вину перед родиной.

«А чем же я могу быть полезен Советской родине? Я обыкновенный шофер!»

«То-то и оно! Я много наблюдал за вами. Вы имеете хорошую репутацию и обширные связи в белоэмигрантских кругах. Насколько мне известно, отзываются о вас хорошо, считают человеком честным, смелым, прямым и порядочным. Повторяю, сотрудничество с Советской властью позволит вам загладить вину и однажды, если вы будете делать всё правильно, вернуться домой. Вы ведь хотите летать, верно?»

«Откуда вы знаете?!»

«Я многое о вас знаю. Начните делать то, что я вам говорю, — второй подобной возможности у вас никогда не будет!»

Летать я действительно хотел (самолеты и небо снились мне едва ли не чаще, чем момент, когда ты бросаешь меня), однако иметь дело с людьми, против которых еще недавно воевал, — нет. Кое-какие новости из Союза приходили, и я примерно представлял, во что большевики превратили страну. Я знал про красный террор и голод в Поволжье, про миллионы беспризорников и расстрел Гумилева, про восстание в Кронштадте и оккупацию Грузии. После всего этого продолжать разговор со стариком, который некогда учил меня ставить точки, не хотелось. Теперь у меня были комната, работа и ты. Моя жизнь наконец обрела понятные очертания, и, значит, я не имел права возвращаться назад.

«Нет-нет, сегодня вы можете не платить...»

«Значит, вы отказываетесь сотрудничать?»

Когда старик неуклюже выбрался из машины, я улыбнулся и подумал, что больше никогда его не встречу, что для ужинов выберу другое бистро, а для работы — другой округ, однако уже через несколько месяцев, как ты понимаешь, я сам начал искать с ним встречи...



Милый Петя, ты знаешь, что этот снимок всегда был со мной. Долгие годы я верила, что мы сможем быть вместе, что у нас все будет хорошо. Я правда старалась, но жить так больше я не могу — я не такой человек.

Я знаю, ты сильный, ты всё поймешь. Я хочу быть актрисой на сцене, но не в жизни. В этой стране я не смогу стать той, кем хочу. Я никогда не смогу выучить этот язык, я никогда не смогу говорить на нем без акцента, а значит, и играть здесь я никогда не смогу. Выступать же в белоэмигрантских кафе я считаю для себя унижительным...

К сожалению, человек становится пленником не только своего места рождения (из которого еще можно сбежать), но и в большей степени пленником собственного языка. Родись я в Брюсселе или в Женеве, мы, вполне возможно, и сегодня заснули бы с тобой вместе, но нас разлучает культура. Без русского языка я мертва! Жить в Париже женой таксиста, зарабатывая на хлеб мытьем полов или вязаньем, я, прости, не могу — уж точно не для этого я была рождена и не я виновна, что твоя жизнь складывается так. У тебя своя судьба, Петя, а у меня, выходит, своя...

Я знаю, что ты захочешь узнать, кто он, — скажу только, что он человек порядочный и настоящий коммунист. Ты его однажды видел. Ничего такого, запретного, о чем ты теперь думаешь, нас не связывает. Напротив, будучи человеком новым и честным, он всего только и желает, чтобы в новой Советской стране я могла быть полезна простому зрителю и реализовала бы себя. Порадуйся за меня, Петя, ведь теперь я буду большой советской актрисой!

P.S. За мной ни в коем случае не едь! Ты же знаешь, тебе туда нельзя! Ничего хорошего тебя там не ждет. В Москве тебя обязательно арестуют и убьют!

Живи здесь, как позволяет жизнь. Живи здесь и радуйся за меня! Живи здесь и знай, что я счастлива, что я играю и что в начале каждого спектакля я нахожу тебя в первом ряду...

Ну, вот и закончилось место...

Возвращение в Союз отняло не один месяц. Время сомнений и тревог. Пожалуй, никогда ранее я не был таким нервным и разбитым. Я писал запросы в консульство в Лондоне и тотчас разрывал их, пытался найти лазейки в Литве и не выходил на связь. Ежедневно накручивая круги по Парижу, я желал зацепиться взглядом за знакомого старика и, наконец повстречав его, несколько раз проезжал мимо. Садясь на лавочку возле крематория, я мог часами смотреть на серый дым и мечтал теперь лишь о том, чтобы мне поскорее удалось испепелить все мысли о тебе.

Два начала сражались во мне: красное и белое, циник и преданный мальчишка, мужчина, прошедший войну, и юноша, который не мог отпустить любовь. Месяц, два, год меня мучила такая простая сложность. Форменная нелепость — простив этому веку всё, что он сделал со мной, я не мог простить тебя. Любовь не проходила. Каждый день меня не покидало ощущение, что без тебя я рассыпаюсь на миллиарды песчинок злой пыльцы.

«А может, не стоит? Если я и доберусь до социалистического рая, то, как правильно заметила Вера, меня тотчас арестуют. Хорошо, если не расстреляют уже в порту. Прежде чем упасть на колени и молить о пощаде, я должен зарекомендовать себя. Мне надобно искупить грехи. Государство, в котором формально я никогда не был, считает меня предателем, а значит, чтобы доказать Советскому Союзу обратное, я должен предать кого-нибудь еще».

Я оказался гораздо слабее, чем думал. В моем, казалось бы, потухшем сердце живет вулкан, который каждый день продолжает дымить. Предательство Веры сводит меня с ума. Я злюсь на нее и в то же время очень люблю. С момента ее отъезда прошло уже столько времени, а я все не могу понять, как после всего, что мы пережили, она смогла так поступить? Что в ее сердце? Что в душе? Что на уме? Я не понимаю, как моя собственная Вера может так зло предать меня?

Иногда я пытаюсь убедить себя, что ничего особенного в этом нет, что она только и сделала, что уехала, что жизнь длинная и мы обязательно вновь встретимся, но это не успокаивает. Мне больно. Я хочу быть с ней и летать, я скучаю по небу и ее рукам...

Теперь я понимаю, что любовь — это единственная вещь на свете, про которую нельзя сказать: «Но не более того»...

Наверное, если бы отец мой был жив, это могло бы остановить меня, но незадолго до твоего бегства сестра прислала письмо, в котором сообщила, что папы больше нет. Человек, которого все эти годы я продолжал бояться, человек, перед которым так хотел оправдаться и которому хотел всё объяснить, наконец отпустил меня. Кажется, это был один из самых печальных и в то же время радостных дней в моей жизни.

Так, в один из вечеров я резко ударил по тормозам и, остановившись на набережной, выбежал из машины. Словно голубь, старик отскочил от края тротуара. Узнав меня, он отдышался и успокоился. Мы отошли в сторону и закурили на берегу Сены, словно давние приятели.

«Что вам от меня нужно?»

«Я передумал...»

В произошедшие во мне перемены старик, конечно, не поверил. По долгу службы ему надлежало подозревать и сомневаться.

«С чего вдруг такие качели?»

«Вы можете меня проверить», — почувствовав недоверие, спокойно ответил я.

«Хорошо, я найду вас, если вы мне понадобится...»

Уже через несколько недель я получил первые задания. В сущности, они мало отличались от прежней работы: я был то водителем, то курьером, и все же поручения эти мне нравились. Теперь я был (ни много ни мало) тайным агентом! Отныне мне надлежало передавать посылки и время от времени сидеть в белоэмигрантских кафе. Играя в шахматы, я должен был пить вино (за счет советских рабочих и тружеников) и собирать информацию о пораженцах.

Разговоры о политике и литературе, которые мне теперь следовало запоминать и фиксировать, особенно не трогали. Ко всем этим обсуждениям сложно было относиться всерьез. Глупости и пошлости. Ежедневные дебаты меня не занимали, однако, стоило эмигрантам поднять тему возвращения, человек подслушивающий, я признавался себе, что оставаться безразличным к этой дискуссии не могу. Вечный вопрос: ехать или нет? Там всё еще дом или уже чужая страна?

«А что, если люди, которые остались в России, в самом деле хотят жить так, как живут сейчас?»

«Люди, которые остались в России, всего-навсего заложники бешеных собак!»

«Но что, если это не так?» — получив новый бокал, вопрошал один из завсегдатаев кафе.

«Это их право, — отвечал другой, — люди вправе жить так, как им угодно, но можем ли мы оставить в беде тех, кто не выбирал?! Тех, кто остался заточенным в этой самой новой на свете тюрьме?»

«При желании сбежать всегда можно, а вот вернуться...»

Слушая спорящих, я замечал за собой, что в такие моменты даже мне хотелось высказаться. Нет, у меня не было ответов, но вопросы имелись. Я готов был признаться, что меня тянет на родину, и дело было не только в любви к тебе, но и в усталости от эмигрантской жизни. Я не знал, что будет со мной через месяц, я не знал, в какой камерке проснусь через год, я хотел элементарной стабильности и чувства дома...

Почему, Петя, ты все время думаешь о России, если и страны теперь такой нет, а твоя сестра, например, вышла замуж и живет в Амстердаме? Почему бы тебе не поехать к ней? Всё самое дорогое и важное можно попробовать восстановить в пределах одного дома, ведь да?

Отца больше нет, но вместе с ним нет и дома. Для чего же ты, Петя, хочешь вернуться в прошлое, от которого ничего не осталось?

«Если и возвращаться, — говорил старик, блестяще отыгрывая роль завсегдатая бистро, — то только единовременно и всем! Если приезжать по одному, это не создаст красным собакам никаких проблем. Они перевалят, пережуют нас. Если же мы действительно хотим победить красных, то должны назначить день великого возвращения, скажем, первого января. Мы должны предупредить всех русских патриотов по всей земле, мы должны проявить солидарность! Только если мы вернемся все вместе и в один день — это доставит проблемы советской власти. В противном случае мы не победим уже никогда!»

Я слушал старика и понимал, что очень хочу вернуться домой, но лишь без всех этих людей. Я больше не хо-

тел революции — я хотел вернуться только в собственную жизнь, но не в прошлое своей страны.

Иногда, совершенно не понимая, чем я в действительности занимаюсь, ко мне подсаживался забежавший выпить стакан молока Гайто. В такие моменты я очень радовался. Говорить с ним было значительно интереснее, чем слушать узколобых людей, которые с переменным успехом спорили то о политике, то о литературе.

«Фанатизм — это все-таки самый опасный вид глупости», — с улыбкой говорил Гайто.

«Я, конечно, не писатель, но, знаешь, иногда мне кажется, что русская литература изрядно подпортила наше неокрепшее общество. С детства великие авторы учат нас, что человек есть существо сложное, однако все эти люди здесь убеждают меня в обратном. Будь я писателем — изобразил бы их плоскими. Кроме напыщенности и глупости в них более ничего нет. Здесь не нужно долго копать: один раз послушаешь — и все понятно...»

«Самое большое счастье, Петя, — это думать, что ты хоть что-нибудь понимаешь из окружающей тебя жизни. Но в действительности ты не понимаешь ничего, и я не понимаю, и нам так только кажется, что мы понимаем; а когда вспоминаешь об этом через год или два, то видишь, что понимал неправильно.

А еще через год убеждаешься, что и второй раз ошибался. И так без конца...»

«Ты когда-нибудь думал о том, чтобы вернуться в Россию?»

«Быть может, когда-нибудь, но не сейчас — сейчас я хочу выучить языки и узнать Европу...»

«А ты понял, чем отличается европейская литература от нашей?»

«Да!»

«И чем же, Гайто?»

«В нашей литературе не важно о чем, но важно как, а в европейской литературе не важно как, но важно о чем...»

Так началось мое служение Советскому Союзу. С грустью я слушал белоэмигрантов, которые считали, что мысли их становились значительнее, если они сыпали эпитетами, и радовался разговорам с Гайто. По хорошему, мне следовало бы писать донесения и на него, но о Гайто в моих отчетах не было ни слова.

Кажется, со всеми заданиями я справлялся довольно хорошо, однако, замечая их однотипность и, мягко говоря, бесполезность, прекрасно понимал, что, если продолжу в том же духе, домой не вернусь.

Если быть точным — никакой я не агент, а обыкновенная шестерка...

Закрывая дневник, я признавался себе, что для возвращения в Советский Союз мне придется совершить нечто большее. И однажды я попросил об этом...

«Что ж, Петр Ильич, хорошо. Я вижу, что вы созрели. Есть у меня для вас одно дельце...»

Старик поручил мне «воссоединиться» со своим старым знакомым — Борисом Викторовичем Савинковым. Мосты дружбы, дороги судьбы. Мне надлежало втереться в доверие и позже, когда известный политический деятель потеряет бдительность, передать его в руки засланного из Москвы агента Фомичева. Последний прикидывался либералом, и первое время Савинков вел себя довольно настороженно, однако совсем скоро размяк. Когда в разговоре со мной он по-дружески поделился своими опасениями, я только улыбнулся:

«Зря, Борис Викторович, очень зря!»

«Но что, если этот Фомичев заслан большевиками?»

«Большевиками?! Борис Викторович, эти тупорылые ублюдки не способны на подобные операции!»

Беседы со мной удивительным образом успокаивали Савинкова. Чем меньше я говорил, тем больше он верил. Самовлюбленный позер. В конце концов, заглотив крючок, бывший эсер и вечный террорист согласился на встречу с Фомичевым и в итоге объявил мне, что принял решение вернуться в Советский Союз. «Прекрасно! Борис Викторович, могу ли я поехать с вами?»

«Не сразу, Петр Ильич, не сразу. Мне понадобится некоторое время, чтобы осмотреться на месте, а вы пока побудьте здесь — вы еще, безусловно, мне пригодитесь!»

Напущенный индюк. Когда годом спустя я узнал, что Савинкова *выпали* из окна, никаких угрызений совести на этот счет у меня не было. Никто не заставлял его возвращаться. Тщеславие и завышенные ожидания — невольная ошибка! Мат в три хода. В отличие от Савинкова, я прекрасно понимал, что Гражданская война все еще продолжается. Так бывает, это как в футболе: раньше ты играл за одних, а теперь — за других.

«Во-первых, Савинков — большой мальчик, сам должен был понимать, куда едет. Во-вторых, я ведь собираюсь повторить его путь. Если меня арестуют уже в порту, я не стану сокрушаться. Если они не пожалеют меня, так почему я должен переживать, что они не пожалели и его? Се ля ви, мон шер, се ля ви...»

После успешно проведенной операции впервые за долгое время я был в хорошем настроении. Я был очень и очень рад. Я понимал, что помог большому делу, а значит, теперь имею право проситься домой, чтобы поскорее отыскать тебя в Москве.

— Так и в каком году ты приехал в СССР?

— В феврале 1926 года, гражданин начальник...

— И сразу начал заниматься шпионской деятельностью?

— Да что ж такое... Ну и терпение у вас, гражданин начальник! Шпионской деятельностью на территории СССР я не занимался! Можете уже наконец так и записать?

— Я бы записал это, Нестеренко, да только нами установлено, что в Советский Союз ты прибыл по заданию иностранной разведки!

— Можно узнать какой?

— Ты и сам знаешь!

— Пф-ф-ф... Повторяю, в Советский Союз я прибыл по собственному желанию.

— Почему это у тебя, бывшего дворянина, штабс-капитана царской армии, полковника белой армии и активного деятеля белой эмиграции за границей, появилось вдруг желание приехать в Советский Союз?

— Да говорю же вам, послушайте! Когда я, будучи за границей, убедился, что белое движение провалено и дальнейшая борьба с советской властью бесполезна, я решил выехать в СССР с целью жить здесь, честно работать и, главное, летать!

— Когда у тебя появилось желание выехать в Советский Союз?

— В 1923 году, во время моего пребывания во Франции.

— А почему раньше у тебя не было такого желания, хотя бы в период твоего пребывания в Сербии?

— У меня и раньше было такое желание, но я не возбуждал об этом ходатайства, так как считал, что с моим прошлым советское правительство не разрешит мне въезд в СССР. Кроме того, проживая в Сербии, я не имел

никакой возможности установить связь с каким-либо советским представительством, так как ни в Сербии, ни в соседних с нею странах в то время советских миссий не было. Уже будучи во Франции, я узнал, что советское правительство разрешает въезд в СССР бывшим белым, поэтому я и подал заявление о приеме меня в советское гражданство. Послушайте, гражданин начальник, до 1921 года я действительно активно боролся против установления советской власти в России, но, после того как белая армия была разгромлена, в связи чем я вынужден был проживать за границей, у меня появилось большое желание жить и работать на родине. Первое время я не мог вернуться, боялся, что меня не простит советская власть, боялся, признаюсь, что будет стыдно посмотреть в глаза отцу, но со временем, покатавшись по Европе, осознав, что ни в Сербии, ни в Болгарии я никому не нужен, я решил примириться с установлением советской власти в России и всеми возможными для меня способами добивался возвращения домой.

— Из твоего ответа явствует, что ты только в связи с усталостью и бессилием белого движения решил прекратить борьбу с Советским Союзом, так?

— Нет, не так! Я просто хотел домой! Вы, гражданин начальник, когда-нибудь жили за границей? Приходилось ли вам ежедневно терпеть унижения, когда самые мелкие чиновники швыряют вам документы в лицо, а рабочие на заводе смеются над вами, потому что вы не понимаете того или иного слова?! Приходилось ли вам терпеть бесстыжие улыбки хозяев комнат, которые, протягивая ключ от форменной помойки, говорят вам: «Соглашайся, русский, ты не в том положении, чтобы выбирать!»

— Ты мне тут на жалость не дави, а отвечай по существу! Правильно ли я понимаю, что в СССР ты прибыл,

будучи враждебно настроенным по отношению к советской власти?

— Нет! Нет, нет и нет! После разгрома белой армии, и в Сербии, и во Франции, я работал простым рабочим. Вращаясь в рабочей среде, я поменял свое отношение к революционному движению. В связи с этим при въезде в СССР враждебности к советской власти я не испытывал, поверьте!

— Сколько времени ты работал простым рабочим до подачи заявления на въезд в Советский Союз?

— Больше года. В 1922 году я уже подал заявление на въезд в СССР...

— Так мало потребовалось времени, чтобы изменить твою психологию и взгляды на советскую власть? Не находишь ли ты сам, Нестеренко, что твоя версия весьма неудачна?

— Слушайте, гражданин начальник, людям предлагали влюбиться в советскую власть в мгновение! Не влюбился — расстрел! Мне кажется, что год — это вполне себе срок.

— Нестеренко, я знаю, что в Советский Союз ты прибыл не по своему желанию, так как с Советским Союзом у тебя — белогвардейца — не было ничего общего, в СССР ты прибыл по заданию иностранной разведки. Вот об этом и показывай!

— Повторяю, что с иностранной разведкой я связан не был!

Если и есть вещь, которую Перепелица искренне не понимает, так это то, как можно по собственной воле захотеть вернуться сюда. Для чего? Зачем? Как и любой другой пламенный патриот, в глубине души Перепелица мечтает бежать и хотя бы на денек оказаться в Лондоне или в Риме. Всякий раз, когда я выпивал с Головым, Оку-

невым или Блохиным, «коллеги» непременно просили меня рассказать о Европе.

«А какие там люди? А как они одеваются? А есть ли у них право на собственные мысли? А за что там могут расстрелять? А правда, Петя, что Константинополь похож на Ростов-на-Дону?»

Проведя в Союзе всю жизнь, Перепелица не представляет, как можно захотеть вернуться сюда. Он не понимает, что такое скучать по дому, и не знает, что значит лежать в кровати и каждую ночь перед тем, как уснуть, закрывать глаза и представлять, что ты лежишь дома, что вот тут, слева, на расстоянии вытянутой руки, стена, а вот там — окно. Всего этого Перепелица, конечно, не представляет. Именно этим фактом и стоит объяснять его предвзятость. Возвращение в эту страну по собственной воле для него противоестественно. Тоска по дому, родной язык? Для следователя Перепелицы всё это пустое. Любовь? Тем более. Хорошо зная это государство, мой следователь искренне считает, что вернуться сюда можно только ради выгоды. Лично он, будь у него такая возможность, никогда бы так не поступил. В глубине души мой следователь твердо убежден, что смог бы реализовать себя в Цюрихе или в Женеве. Он считает, что из него получился бы отменный частный детектив.

— Упираешься, значит, да? Ждешь, что я сам тебе все выложу? Не веришь, что я докажу, что ты предатель и враг народа?

— Не верю...

— Думаешь, что умнее меня, что до сих пор ничего нет на тебя, да?

— Ну, так сложно сказать, гражданин начальник...

— Думаешь, что остроумнее, начитаннее, сообразительнее меня?

— Да, честно говоря, не сказать, что я много о вас думаю...

— Потому что считаешь меня дураком, да?

— Да нет, что вы — вы очень умный человек...

— А ровно в этом и есть твоя проблема, Нестеренко! Твоя и таких, как ты! Вы потому и проиграли, что недооценивали нас! Вы думали, что мы не продержимся и года, но посмотри на календарь — сейчас 41-й, и мы продолжаем добивать вас. Ты смотришь на меня свысока, думаешь, что образованнее и начитаннее, но оглядись — где ты и где я? Так кто же из нас умнее? Ты, Нестеренко, человек сложноподчиненный, а побеждает простота. Вот ты тут сидишь, паясничаешь, думаешь, что хорошо понимаешь меня, дурака, но в действительности-то все равным счетом наоборот! Это я хорошо знаю тебя! Я очень много знаю про тебя!

— Это что же, например?

— Я знаю, что ты оформляешь на работу непроверенных людей, которые бывали во время империалистической войны в германском плену, что продаешь урны налево, как это было в случае с прахом ребенка Болотина...

— С Болотиным так получилось, потому что...

— Теперь уж можешь не отвечать! Удивлен? Смотрика, кое-что я все-таки знаю, да? Так вот, раз уж ты меня спрашиваешь, что я про тебя знаю, так я отвечу! Я знаю, Нестеренко, что ты для собственной выгоды ликвидировал оранжерею, которая обслуживала посетителей на территории крематория, и тем самым оставил крематорий без цветочного хозяйства...

— Видите ли...

— Заткнись, говорю, и слушай теперь, раз ты так хотел! Ты строишь из себя добряка и весельчака, разыгрываешь из себя рубаху-парня, а между тем все работники крематория боятся тебя, потому что самокритика у тебя

отсутствует, за критику ты увольняешь с работы под различными предложениями, как, например, была уволена садовница Щеглова, верно?

— Она...

— Она писала в стенгазету и выступала против тебя на собраниях, за что и была уволена. Думал, я не узнаю этого, да? А какой прожиточный минимум у тебя, Нестеренко, а? Рассказать тебе, раз уж я у тебя на допросе? Так я и расскажу, никаких проблем у меня с этим нет, потому что я человек простой и работу свою выполняю хорошо. Живешь ты, Нестеренко, очень славно и даже имеешь приходящую прислугу, которая убирает твою квартиру, верно? Верно! Собственная прислуга, Нестеренко?! В СССР? Говоришь, работая в Сербии и Франции, хорошо понял простого мужика? Кажется, не до конца!

— Это всего лишь потому...

— Потому что ты, Нестеренко, считаешь меня не очень умным человеком, верно? Все улыбаешься, думаешь, что у меня ничего на тебя нет, а я бы на твоём месте уже перестал бы улыбаться. Кажется, ты считаешь, что за все эти месяцы я ничего не накопал, да?

— Ну, для 58-й, кажется, не особенно...

— Не особенно? А я вот думаю ровным счетом наоборот! Именно потому, что я очень хорошо выучил тебя, Нестеренко, я знаю, что по тебе плачет 58-я! Думаешь, я не знаю, что зимой ты расхаживаешь по кладбищу в шубе? Думаешь, не знаю я, что ты назначил гражданина Соколова на должность дежурного администратора и с ним находишься в хороших взаимоотношениях, что дал ему сразу новый костюм с рассрочкой, а старым рабочим даешь с одновременным погашением денег за тот же костюм? Думаешь, я не знаю, что обыкновенным работягам ты вечно грозишь тем, что отберешь паспорта и вышлешь за границу? Что никого не пускаешь в свою квартиру, что получил ее, выселив рабочих, а сам от-

ремонтировал этот домик, отгородив его, чтобы никто туда не входил? Думаешь, не знаю я, что, когда граждане спрашивают, где директор, ты вечно включаешь дурака и говоришь, что его нет, что он ушел? Что с немецкими специалистами ты общался исключительно на немецком? Что с иностранцами ты всегда обращался очень хорошо, а с советскими гражданами, наоборот, очень грубо, по-хамски, говорил, что это скоты, а не народ?

— Во-первых, я такого никогда не говорил, а вторых, может быть, какие-то ошибки на работе я и совершал, однако всё это, гражданин начальник, уж никак не тянет на 58-ю...

— Так а я ведь еще не закончил, Нестеренко. Ты хотел, чтобы я доказал, что ты враг народа? И я тебе докажу! Правда, Нестеренко, заключается в том, что ты не советский человек и никогда им не был! Правда, Нестеренко, заключается в том, что ты вернулся в Советский Союз, чтобы совершить террористический акт!

— Какой еще террористический акт?!

— Следствием установлено, Нестеренко, что в один из приездов товарища Сталина в крематорий ты должен был совершить на него покушение!

— На Сталина?!

— Да, Нестеренко, на товарища Сталина! И не делай вид, что ты не понимаешь, о ком идет речь!

О ком идет речь, я, конечно, понимаю, да только вот сюрприз! Столько месяцев из пустого в порожнее, иностранный шпион, иностранный шпион, а сегодня вдруг на тебе — покушение на товарища Сталина...

С одной стороны, это говорит о том, что ничего особенного на меня нет, а с другой... Обвинение в покушении на товарища Сталина — хуже не придумаешь... Нужно не молчать, главное — не молчать теперь, важно срочно что-то ему ответить!

— Но ведь когда я решил вернуться — у власти еще был Ленин! Как же я мог бы готовить покушение на Сталина?

— Ну, сперва ты думал убить Ленина, потом ситуация изменилась...

— Как я мог готовить покушение на товарища Сталина, если у меня даже не было возможности увидеть его!

— В самом деле? А в 1932 году?

— А что в 1932 году? Сейчас 1941-й!

— А ты вспомни, Нестеренко, вспомни!

В 1932 году... Чего же он хочет-то от меня, а? В 32-м... По ночам привозили не так уж и много, во всяком случае, конечно, не столько, сколько в 37-м... 32-й... Год голодный был, но как-то справлялись... Помню, что в мае запустили первый советский дирижабль (я тогда этим очень интересовался), помню, что вроде Горький окончательно вернулся, но кремировал-то я его много позже, только в 1936-м...

— Ну, что? Вспомнил, Нестеренко?

— Если честно, нет, гражданин начальник...

— Может, тебе помочь?

— Ну если вы скажете, к чему ведете, мне, конечно, будет значительно легче...

— А веду я к тому, Нестеренко, что в 1932 году ты уже ведал всеми кладбищами Москвы, верно?

— Верно, гражданин начальник...

— В том числе и Новодевичьим...

— Всеми ведал, гражданин начальник...

— На котором была захоронена Надежда Аллилуева...

— А, так вот вы к чему...

— И ты хочешь сказать, что кладбищами заведовал, а о том, что товарищ Сталин приедет на похороны собственной жены, не знал?

— Во-первых, я же не знал, что она умрет. Во-вторых, в тот день мы готовились к тому, что ее привезут в крематорий на Донское кладбище, а не на Новодевичье, но, как вы правильно заметили, гражданин начальник, Аллилуеву похоронили не у нас... — А почему?

— Я думаю, что ее не привезли в крематорий, потому что сразу после ее смерти появилось слишком много слухов. Если бы мы кремировали ее — слухов этих стало бы еще больше...

— Почему?

— Ну, мол, прячут концы в воду. Так или иначе, даже в тот раз товарища Сталина я не видел и не понимаю, как приведенные вами факты могут указывать на то, что я готовил покушение? Думаю, вам все еще нужно предьявить мне что-нибудь поубедительнее...

— Поубедительнее?

— Да, гражданин начальник, поубедительнее!

— А ты знаешь, Нестеренко, мне моя версия кажется вполне себе убедительной. Долгие годы ты вынашивал обиду, с которой не смог справиться, и в конце концов придумал план: в Париже ты начал изучать кремационное дело, чтобы устроиться в Первый Московский крематорий, прекрасно понимая, что там будут появляться первые лица страны...

— Серьезно? А ничего, что, когда я наблюдал за кремациями в Париже, в Москве еще не было никакого крематория!

— Не перебивай! Ты знал, что крематорий рано или поздно появится, и ровно для этого тебе и понадобилась взлетно-посадочная полоса. Ты всё просчитал, Нестеренко! Ты решил, что совершишь теракт, а потом сядешь в самолет и умотаешь на Запад. У тебя ведь были друзья, которые угоняли самолеты через границу, верно?! План хороший, я даже могу отметить твою подготовку и то, как долго ты ждал своего шанса, но правда в том, Несте-

ренко, что мы здесь тоже не дураки, и таких, как ты, мы сразу вычисляем!

Господи, вот же идиот! Теперь я понимаю, что у него действительно ничего на меня нет — и это самое страшное. Покушение на Сталина... в крематории... с самолетом... вот же бред! Самое ужасное, что это образцовый советский бред — в него непременно поверят...

Вот черт! Убить Сталина... Да если бы я действительно хотел убить Сталина, разве нужно было бы мне для этого ожидать его на кладбище? Я знал, что, посещая Малый театр, Сталин всегда предпочитает правительственной ложе ложу директорскую. Я знал, что он садится всегда чуть поодаль, за занавеской. Я знал, что он лично опекает Большой, устанавливает там огромные зарплаты, щедро награждает актеров орденами и сам выдает премии имени себя. Я знал, где и когда его встретить, так зачем же мне делать это на кладбище?!

Все эти годы, разыскивая тебя, милая, я действительно знал, что многие артисты имели по две-три Сталинские премии, а то и пять, как, например, Баратов. Сталин был так увлечен театром, что единолично решал, в каком платье должна быть Татьяна в «Евгении Онегине». В театре он был «добрый царь», театр был его любимой игрушкой. Нередко после постановок отец народов приглашал артистов и артисток к себе на пьянки, во время которых бывший протодьякон Михайлов громовым голосом пел ему «Многая лета». Даже репрессии 37-го года почти не коснулись Большого театра, особенно ведущих артистов, так для чего же мне было ожидать его на кладбище, если я мог готовить покушение, например, во МХАТе? Для чего мне нужно было ждать незапланированных похорон, если всё, что было необходимо в этом случае, — отыскать в афише московских театров два спектакля, на которые он точно бы пришел.

«Дни Турбиных» Сталин смотрел 16 раз, а «Любовь Яровую» — 18 (!). В поисках тебя за долгие годы в московских театрах я видел Сталина несколько раз: в 1935-м вместе с Молотовым он посетил «На всякого мудреца довольно простоты», а в 1935-м или 1936-м (теперь я точно не вспомню) смотрел «Врагов» испепеленного мною Горького. В 37-м я видел его на постановке «Анны Карениной» Сахновского и Немировича, а после вождь появился на премьере «Ивана Сусанина», в финале которой, когда на сцене топтались сотни артистов и живые лошади, зал встал и начал аплодировать, но не актерам, а ему. Если бы я действительно хотел совершить покушение — лучшую суматоху для выстрела сложно было бы представить! В этих овациях никто бы даже не услышал звука выстрела — ну какой на хрен Сталин, а?»

— Если вы знали, что я готовлю покушение на товарища Сталина, так что же раньше не арестовали меня? Чего же вы ждали столько лет? Чего хотели? Убедиться в собственных догадках? То есть вы косвенно потворствовали преступлению? Вы кто, гражданин начальник, наблюдатель или вы соучастник?

— Ты что, Нестеренко, думаешь, что я буду делиться с тобой нашими методами работы?

— А дело не в методах, гражданин начальник, дело в том, что до начала войны вам на меня было совершенно наплевать! Дело в том, что вы арестовали меня только потому, что на случай начала боевых действий у вас есть специальный документ, согласно которому немедленному изъятию подлежат некоторые группы лиц... Причина моего ареста вовсе не в шпионской деятельности, и даже не в том, что я, как вы тут сочиняете, готовил покушение на товарища Сталина, — действительная причина моего ареста заключается только в том, что я попал в одну из этих групп. Ну признайтесь!

В этом же дело? Признайтесь, гражданин начальник! Дело ведь только в том, что я был за границей? Ведь так? Вы же просто обрезаете концы, да? Вы не ищете врагов, а создаете их! Вы арестовываете меня вовсе не потому, что я готовлю покушение на Сталина, но потому только, что долгие годы я провел в Турции и во Франции, а значит, исходя из вашей странной логики, могу быть потенциальным шпионом. Только опоздав, вы начинаете работать на опережение. Однажды вы уже разобрались с якобы польскими шпионами, а теперь вот, похоже, беретесь за немецких, да? Все эти месяцы вы надеялись, что я проговорюсь, скажу что-то лишнее, но, когда стало очевидно, что в шпионаже меня не обвинить, а расстрелять, судя по всему, все-таки нужно, вы придумали всю эту ерунду про покушение на товарища Сталина, хотя сами прекрасно понимаете, что у меня даже не было доступа к нему!

— А чего это ты разволновался-то так?

— Вообще не разволновался, просто смешно слушать эту ерунду!

— Ну, ерунда не ерунда — решу уже не я...

— А кто? Тройка?

— В твоём случае, Нестеренко, да. Решение по тебе вынесут на особом совещании при НКВД СССР...

— Минос, Аид и Радамант взвесят на весах мои плохие и хорошие поступки и назначат место постоянного пребывания?

— Я не очень понимаю, о ком ты, но думаю, что назначат тебе расстрел, а пребывать ты будешь в какой-нибудь яме!

— Ясно...

— Ну и хорошо, что все тебе ясно. Бывай!

— В смысле?

— В прямом — закончено наше следствие — бывай!

Так, в конце шестого допроса рано утром Перепелица объявляет мне, что дело, по его мнению, может быть закрыто. Задача решена, ответ готов. Шахматная партия выиграна. Последняя запись в нотации. X.

Внезапный вывод следователя меня ошарашивает. Я вынужден признать, что Перепелица меня переиграл. Так ловко сплести несплетаемое. Удивительная цепочка: война — Деникин — эмиграция — возвращение — Сталин. Как ему только удалось протянуть между этими петельками свою красную нить?

«Самое веселое во всем этом, — думаю я, — что этому ублюдку поверят! Все это выглядит так красиво, что об этом будет даже приятно написать в «Правде».

Перепелице удастся то, о чем сам я могу только мечтать: в моей переменчивой и лоскутной судьбе молодой московский следователь находит вдруг закономерность и смысл. Мне кажется, что моя жизнь — череда бессвязных эпизодов, но нет.

«Вот это было вот для этого, а вот это было вот для того».

Следователь Перепелица умудряется объяснить все когда-либо происходившее в моей жизни только одним и единственным желанием однажды отомстить товарищу Сталину.

Теперь я знаю, что и революция, и война, и эмиграция, и возвращение в Союз случились только потому, что однажды я возмечтал убить Вождя.

«Вот же чепуха...»

Когда Харон уже выводит меня из камеры, Перепелица вдруг приказывает задержаться и задает еще один, последний в то утро вопрос:

— Слушай, Нестеренко, а ты собственные похороны как себе представляешь?

— А мне пока рано об этом думать, гражданин начальник...

— Ты уж поверь!

— Если когда-нибудь это и произойдет, я бы хотел, чтобы они прошли в китайской традиции...

— А это как?

— В Китае во время похорон танцуют голые женщины...

— Зачем?

— Во-первых, китайцы считают, что подобный танец помогает вступить в загробный мир, а во-вторых, какая-никакая, а все-таки благодарность покойнику за дела житейские. Ну и кроме всего прочего на похороны с участием голых баб обыкновенно собирается больше народу. Вы только представьте себе, гражданин начальник: Красная площадь, прощание с товарищем Лениным, а на Мавзолее танцуют сдобные, грудастые девчонки!

— Думаешь, можно так шутить над важнейшей для каждого советского человека святыней?

— Вы про Мавзолей, что ли?

— Да, Нестеренко, я, конечно, про Мавзолей!

— Я вам вот что расскажу на прощанье, гражданин начальник: когда товарища Ленина решили положить в саркофаг (а не кремировали его только потому, что в то время в Москве еще не было крематория), так вот, когда его все-таки решили сохранить для будущих поколений, архитектор Мельников ошибся в расчетах и неправильно вырезал стекло. Думаю, вам не нужно объяснять, что в срочном порядке найти в Москве замену задача непростая, однако Мельников справился — ради такого важного случая он изъясил витрины ресторана «Ярь».

— Да ладно!

— Прохладно! Так что всякий раз, когда вы вспоминаете, что товарищ Ленин лежит в Мавзолее, не забы-

вайте, что, как карп в аквариуме, наш великий вождь закрыт окнами бывшего борделя!

— Уводите!

На этом шестой допрос заканчивается, и меня возвращают в камеру. Дело кончено. Тяжелая дверь хлопывается, и мужики, которых почем зря разбудили ранним утром, недовольно ворчат. Я ложусь к человеку, с которым делю нары, и, закрыв глаза, понимаю теперь, что совсем скоро поплывем.

ПРОТОКОЛ

об окончании следствия

1942 года января «3» дня

Я, следователь Следственной группы НКВД СССР, лейтенант гос. безоп. Перепелица рассмотрел следственное дело № 2716 по обвинению Нестеренко Петра Ильича в преступлениях, предусмотренных ст. 58-1а и 58-13 УК РСФСР.

Признав предварительное следствие по делу законченным, а добытые данные достаточными для предания суду, руководствуясь ст. 206 УПК, объявил об этом обвиняемому, предъявил для ознакомления все производство по делу и спросил — желает ли обвиняемый чем-либо дополнить следствие.

Обвиняемый Нестеренко П. И., ознакомившись с материалами следственного дела, заявил, что со следственным делом на 171 листе ознакомился полностью. Дополнить следствие ничем не желает.

В самом деле, что тут еще добавишь? Что на Руси простолудинов сжигают в гряде дров, а князей в лодках? Что кремация есть и у германцев, и у римлян? Что, если

вдуматься, мы, люди, единственный в природе вид, который хоронит своих умерших, ведь ни коты, ни жирафы подобной ерундой не занимаются? Чем еще я могу помочь следствию? Важно ли товарищу Перепелице знать, что на Мадагаскаре каждые семь лет покойника выкапывают и переодевают в новый саван? Желает ли он знать, что в Новой Гвинее трупы съедают женщины, потому что есть надежда, что это дает человеку возможность переродиться? «Разве что это, да». Да, пожалуй, это единственное, что я не успел (а в действительности не желал) ему рассказывать. Следователь Перепелица никогда не узнает, что долгие годы я представляю, как однажды ты съешь меня, но, к сожалению, как ты знаешь, всё случается ровным счетом наоборот...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРИГОВОР

После успешно проведенной операции мне помогли с оформлением документов и разрешили вернуться в Союз. В поисках утраченного времени я приехал в запретное царство. Завещание юности, вслед за тобой, спустя пять с лишним лет, я ступил на родную землю. Передо мной открылась новая страна, в которой я должен был вести себя умно, а всякое воспоминание включать аккуратно.

Первое мое потрясение лежит в области языка. Если увиденная картина особенно не поражает, то новая речь — очень! Советские люди говорят теперь иначе. Буквально за шесть лет всё изменилось. Новый конструкт языка. Я слышу не только множество юных и не сразу понятных мне слов, но и то, как поменялись интонации. Я понимаю смысл, но не всегда подачу. Большинство людей начинает всякое высказывание с оборота «На самом деле». Если в Париже во время споров собеседники обыкновенно говорили «по моему мнению» или «вероятно», то здесь, кажется, сомнение приравнивается к поражению. Сомневаться теперь преступно. Вокруг себя я вижу нацию людей, которые неведомо отчего чрезвычайно уверены в себе. Главное теперь говорить не ясно, но громко, не вдумчиво, но безапелляционно. Колебание, смятение — «На самом деле все это призна-

ки классового врага — советскому человеку не в чем сомневаться, всё в его жизни теперь просто и ясно!»

«Понятно», — глубоко вздохнув, едва ли не каждый день отвечаю я.

Работу на аэродроме, которую обещал старик, никто, конечно, не дал. Напротив, присматривающие за мной новые товарищи предупредили, что с моей биографией следует быть осторожным.

«Серое прошлое у вас, гражданин. Хорошо бы вам с ним поработать, переделать себя, доказать. Нам нужно от вас всё только новое, честное, советское. Оставьте себе, гражданин, только настоящее и, если повезет, надежду на светлое будущее».

Условия новой, неведомо какой по счету игры были понятны.

«Выкручивайся как хочешь, если что-то не нравится — возвращайся назад!»

Когда во время одной из пьянок, на которые я ходил скорее в поисках работы, чем для собственного удовольствия, мне вдруг рассказали, что есть возможность поработать на кладбище, я немедленно согласился. Еще не зная, что мне придется возглавить мрачное подземелье Гедеса, я возрадовался — у меня наконец будет работа! Человек, быть может, и не умудренный, но все же обладающий некоторым опытом, я прекрасно понимал, что в который раз, совершенно незаслуженно, двадцатый век не только испытывает, но и балует меня. Работа на кладбище была очередным подарком.

Однажды, еще в Константинополе, британские офицеры рассказали мне, что самый знаменитый могильщик Британии — Роберт Скарлетт — персонаж, которым вдохновлялся сам Шекспир, умер в возрасте 98 лет, потому что работа на кладбище продлила ему жизнь. Осваивая новую для себя профессию, я надеялся теперь,

что доживу до того момента, когда вновь увижу тебя. Приступая к работе над созданием Первого Московского крематория, я вспоминал, что Роберт Скарлетт своими руками захоронил Екатерину Арагонскую и Марию Стюарт, и, хотя в те дни я еще не подозревал, что однажды кремирую Кирова, Чкалова и Луначарского, однако уже чувствовал, что в жизни моей начинается неплохой этап.

Вполне возможно, это будет десять — пятнадцать лет, когда я наконец смогу передохнуть. Если вдуматься, если только оглянуться назад, жизнь на кладбище — это то, о чем я мог только мечтать.

Возле моего кабинета появилось объявление:

«Товарищи, желающие ликвидировать свою неграмотность или повысить таковую, пусть обращаются к Юркевич».

Я понял, что на кладбище будет весело.

Мое небохранилище. Оказавшись в мире мертвых, я рассчитывал, что смогу перевести дух, старательно коптя солнце и облака. Мне хотелось зализать раны и хотя бы немного спокойно пожить, но даже здесь, в республике тишины, новые люди не оставили меня. То и дело чекисты напоминали о моем происхождении, тыкали в белое. Более того, один из товарищей-доброжелателей настойчиво рекомендовал жениться:

«Но на ком?» — с нескрываемым удивлением спрашивал я.

«На какой-нибудь правильной, советской девушке! Тебе, Нестеренко, нужно продемонстрировать, что ты теперь самый настоящий советский человек!»

«Но у меня есть девушка, и я ее люблю! Однажды мы поженимся!»

«Правда? И кто она?»

«Советская актриса!»
«А фамилия-то у нее какая?»
«Скоро будет Нестеренко...»

Вернувшись в Союз, я начал поиски. Я писал твоим родным, телеграфировал знакомым. Информации не было. Однажды сбежавшую на Запад, тебя будто бы больше никто не помнил. Гуляя по Москве, я внимательно изучал театральные афиши, однако фамилии твоей не находил.

Всё свободное время я проводил теперь в партерах, выбирая места поближе к рампе, вечер за вечером ожидая, что ты вот-вот выйдешь к краю сцены и отыщешь меня в зале. Мой рабочий стол был завален теперь театральными программками. О каждой новой увиденной пьесе я писал в дневнике:

«Чудак» Чебана и Берсенева — спектакль, на который совершенно невозможно попасть (после премьеры занавес поднимается более тридцати раз!).

«Мольба о жизни» — последняя постановка Второго МХАТа.

«Испанский священник» режиссера Бирмана.

«Двенадцатая ночь» в постановке Гиацинтовой, Готовцева и Хачатурян.

«Выстрел», ТРАМ, гастроли которого в Москве продлевают несколько раз.

«Высоты» Лапицкого. Спектакль этот очень нравится столичной публике, а мне нет.

«Цианистый калий» драматурга Вольфа не бесполезен.

«Строитель Сольнес» по Ибсену вполне себе хорош...

Переходя со спектакля на спектакль, я надеялся, что вот-вот наступит вечер, когда ты сыграешь пьесу только для меня одного, однако история Галлиполи повторялась — ты не появлялась.

Едва ли не всё время в перерывах между утренними и ночными кремациями я проводил в театрах. «Пере-

плав» и «Без вины виноватые», «Кинороман» и «Конец — делу венец», «Принцесса Турандот» и сотни других спектаклей, которые объединяло только то, что на каждом из них, сезон за сезоном, я напрасно мечтал увидеть тебя.

Иногда, чтобы успокоиться и перевести дух, в дни, когда шли уже виденные мной спектакли, я уезжал на Ходынское поле. Здесь был расположен московский аэродром. Летать мне все еще не разрешали, однако наблюдать за взлетами и посадками никто не запрещал. Разглядывая взмывающие вверх самолеты, я вспоминал машины, которые когда-то были в моем распоряжении. Закрыв глаза, я проходил за ангаром ангар: «Альбатрос» завода Лебедева и «Депердюссен» завода Дукса, боевые и учебные «Фарманы», самолеты «Моран», «Марчет» и «Ньюпор». Порой я даже покупал билеты! Не в театр, но в другие города. Никуда лететь мне, конечно, не нужно было, однако очень хотелось. Полуграмотный век; пока необученные советские граждане боялись даже подходить к небесным машинам, без всякой надобности я летал в Ленинград и в Нижний Новгород. Восторг! Глядя в иллюминатор, с интересом рассматривая заштопанное, как жизнь моя, крыло, я улыбался и нисколько не сомневался, что однажды обязательно вновь полечу в Киев, но уже только с тобой!

Сложно поверить, но эту запись я делаю в небе. Да, пускай сейчас я обыкновенный советский пассажир, но нет никаких сомнений, что совсем скоро все переменится, и я буду за штурвалом! Я буду управлять самолетом, и рядом со мной непременно окажется Вера, вот только бы поскорее мне отыскать ее!

Отыскать тебя не получалось, а вопросы «товарищей» повторялись:

«Нестеренко, ты женишься?»

«Да...»

«Когда?»

«Скоро...»

«Нестеренко, ты пойми, времена непростые, тебе нужно обезопаситься, иначе у нас начинает создаваться впечатление, что у тебя есть кто-то за границей...»

«Да нет у меня там никого!»

«Вот и славно! Мы, кстати, нашли для тебя очень хорошую советскую девушку...»

«Я же говорю вам, что у меня уже есть девушка, и я люблю ее!»

«Петя, ты можешь любить кого хочешь, но жениться надо!»

«Да зачем?»

«А затем, что и ты за ней приглядывать будешь, и она за тобой. Когда два человека друг к другу небезразличны — получается хороший советский брак».

Драматургия согласия. Не человек, но флюгер. Слово Фениксу, в который раз мне предстояло восстать из пепла собственной биографии. По возвращении в Советский Союз жизнь в очередной раз ставила меня перед выбором: белые — красные, любимая — жена? Что же тут думать, когда такие сваты?!

Так в моей жизни появилась Антонина Александровна Егорова, дальняя родственница маршала СССР. Не прикрытые, а настоящая стена! Чтобы окончательно перестраховаться, мы завели ребенка, которого на всякий случай назвали Феликсом. Жена предлагала другое имя, однако я стоял на своем:

«Со мной, да и с тобой не очень понятно, что будет, а ему с этим именем еще здесь жить да жить; если окажется в детском доме — Феликса будут меньше бить...»

«Или наоборот! Кто там с детей спросит? Может, уж лучше тогда Иосифом?»

«Нет», — почти беззвучно, едва заметно качая головой, отвечал я.

Витраж счастливой советской семьи был собран. Работа, правильные родственные связи и имена. Кажется, в первые годы в новой стране я был до того осторожен, что повторил ошибку миллионов советских граждан: я был так аккуратен, что сын мой вырос пламенным коммунистом. Себестоимость жизни. Настоящее определяет будущее. Детей. Даже спустя сорок лет, в восьмидесятые, когда расплыться в верности Стране Советов в общем-то более было не нужно, Феликс строчил брошюры и агитки вроде «Военно-патриотическое воспитание молодежи» и «Теория и практика советской печати». От всего этого, конечно, было грустно, но что уж тут поделаешь — XX век. 23 июня 1941 года меня арестовали у него на глазах, однако сын мой решил преданно служить Советскому Союзу. Впрочем, иногда я думаю, что он делал это только для того, чтобы обезопасить собственных детей.

«Как говорил Гераклит? Рожденные жить, они обречены на смерть, да еще и оставляют детей, чтобы родилась новая смерть...»

Впрочем, до сына моего было еще далеко. Я только вернулся в Москву и, привыкая к печи крематория, каждый день экспериментировал с температурой. Всякому новому гражданину, как любил шутить Блохин, я оказывал горячий прием.

Многие полагают, что крематорий — это страшно и печально, однако ничего особенного в буднях здесь нет. Трупы и трупы, сколько их было за эти годы? Лично у меня сложность возникает только с детьми. Говорят, что с годами случается профессиональная деформация, ровно так же, как в СССР у меня должна произойти

*гражданская деградация, однако пока этого нет — к ма-
лышам я привыкнуть никак не могу. Загружая в печь ре-
бенка, я всякий раз стараюсь успокоить себя тем, что
этому созданию чрезвычайно повезло: чем меньше ты
прожил в Советском Союзе, тем лучше...*

Эту страницу — еще до ареста — я вырвал из дневника.

Первое время я работал только по утрам — трупы
расстрелянных появились в моей жизни не сразу. Когда
однажды ночью в дверь мою вдруг начали стучаться не-
известные, я подумал, что это арест.

«Надо же, — удивился тогда я, — зачем же они дали
мне устроиться на эту работу? Для чего сделали первым
директором крематория и столько лет не трогали, если
теперь пришли арестовывать? Почему сразу не расстре-
ляли меня?»

Однако задержания не произошло. Блохин и Голов
отвели меня к грузовику и, приподняв тент, едва ли не
в унисон объяснили: «Надо утилизировать...»

Я заглянул в кузов и увидел тел пять.

«Сделаем», — спокойно ответил я, я был человеком
понимающим.

То, что все трупы оказались с простреленными голо-
вами, я заметил уже только возле печи. Никаких вопро-
сов я тогда, конечно, не задал. Есть вещи, которые и так
понятны.

*Это дело не мое. Утром сжигать или ночью — раз-
ницы никакой нет. С дыркой люди или без, чего думать
про это, если они уже мертвы? Я всего лишь превращаю
серую массу в серую массу...*

Функция моя была очень проста: тело загрузил, прах
вытащил, остатки костей перемолол в креммуляторе. По-

сле — собрал весь прах, вынес его на улицу да высыпал
в яму. Остальное не ко мне. Я никаких советских зако-
нов не нарушаю. Большие товарищи решают — я же все-
го только ставлю точку в человеческой судьбе...

Хранить на правах шифра
Подлежит возврату в 48 часов 16 декабря 1934 г.

30/00/1211/ОП
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Председателю Верховсуда РСФСР
Председателю Облсуда — т. Степанову
Председателю Горсуда — т. Смирнову
л и ч н о

1) Верховный Суд Союза ССР открыл специальное
помещение для приведения в исполнение приговоров
с высшей мерой уголовного наказания.

Указанное выше помещение расположено на терри-
тории Горсуда, Каланчевская ул., д. № 43.

2) Для обеспечения операций Верховный Суд СССР
предоставляет в распоряжение судебной организации,
приводящей в исполнение приговор, автомашины как
для доставки приговоренных в помещение, так и убор-
ки их после совершения операции.

3) Заявки на помещение и подачу автомашин выпол-
няются по письменному требованию:

- а) Председателя Верховсуда СССР;
- б) Председателей и членов коллегий Верховсуда СССР;
- в) Председателя Верховсуда РСФСР;
- г) Председателя Московского Обл. Суда;
- д) Председателя Московского Гор. Суда;

4) Заявки требования на совершение операции и по-
дачу машин принимаются ежедневно от 10 до 16 часов
в Управлении делами Верховного Суда СССР (Большая
Дмитровка, д. 15а)

5) Доставка в помещение приговоренных, конвоирование их и приведение приговоров в исполнение производится с соблюдением действующих правил той судебной организации, которая вынесла приговор.

6) По исполнении приговора, исполнитель той же судебной организации производит дальнейшие операции вплоть до вывозки (на предоставленной Верховным Судом СССР автомашине) и сдачи тела в крематорий.

9) До выдачи автомашины на вывозку тела, комендант спец. помещения должен получить акт за подписями представителей судебной организации, приводящей приговор в исполнение, об исполнении приговора.

Изложенное сообщаю для сведения.

Председатель Верховного суда
Союза ССР Винокуров

Доброе утро, полночь. Новая темная жизнь. Едва ли не каждый вечер, возвратившись из театра, я отправлялся в крематорий, где, сидя у печи, ожидал грузовик с надписью «Шампанское» (иногда «Хлеб»). Я представлял, как машина выезжает из Варсонофьевского переулка и медленно движется в сторону Донского монастыря.

«Каких-то семь километров — не такой уж и длинный кровавый след».

От ночи к ночи грузовик с десятком трупов проезжал Большой театр, Охотный Ряд и руины храма Христа Спасителя. Москва-река превращалась в реку Стикс, и, подготавливая печь, я видел, как труповозка ворчала спящими столичными переулками. Она заползала на мост и, завидев на ней надпись «Шампанское», какой-нибудь веселый студент кричал ей вслед:

«Шеф, сбрось мне одну бутылочку!»

«Давай возьмем его с собой», — с улыбкой предлагал водитель.

Затем начиналась разгрузка. Голов и Окунев были ребятами компанейскими. Нередко им удавалось здорово шутить. Там, в подвале крематория, юмор и сарказм были тем немногим, что позволяло мне не сойти с ума. В иные дни, особенно если работы было много, а шутки повторялись, это немного раздражало меня.

Как работал конвейер? Отлаженно, хорошо. Например, в 1937 году заседания шли на Никольской, 23, где permanently выносились смертные приговоры. Вечерами Блохин и его команда собирали людей по тюрьмам и привозили в Варсонофьевский переулок. Водитель включал двигатель, и под музыку мотора в подвале начинались расстрелы. Двадцать, тридцать, однажды триста человек. После этого наполненный трупами грузовик(и) выезжал(и) на Донское кладбище, где начиналась ночная кремация. Блохин писал мне: *Примите 46 трупов для немедленной кремации.*

На обратной стороне я отвечал: *15 человек кремировано, остальные зарыты.*

Случалось, спустившись к печи с рюмкой водки, Блохин рассказывал, как тот или иной человек вел себя перед расстрелом:

«Эта вот, коммунистка верная, все пыталась убедить меня, что честно служила партии, работая в газете, что всегда была за советские ценности, что, даже когда рассказывала о голоде, старалась не ранить читателя. Все награды свои назвала перед выстрелом, очкарка, а этот вот ничего, смелый оказался мужик».

Впрочем, нужно признать, что такие разговоры были редкостью. Блохин не очень-то запоминал людей. Более того, иногда мне казалось, что он скорее сочиняет. За годы расстрелов этот человек разучился различать человеческие лица и вряд ли мог вспомнить то, что говорил тот или иной будущий труп два часа назад. Думаю, что

Блохину иногда просто хотелось выглядеть более человеческим.

В подобной работе и разговорах проходили недели, месяцы, годы. Кладбище и крематорий становились рутиной. Довольно быстро я привык к тому, что жизнь моя теперь монета: орел утром, решка ночью. Или наоборот, неважно, это как пойдет. Неизменным оставалось одно: в светлое время суток у меня был чистый халат и белая рубашка, а по ночам подобные излишества были ни к чему. Ночную работу я выполнял без удовольствия, а дневную вполне. Шутка ли, теперь я ведал всеми кладбищами Москвы. Большой человек! В стране тотального дефицита дружить со мной считалось немалой привилегией.

Я, Петр Ильич Нестеренко, теперь желанный знакомый. Я могу помочь с захоронением, я имею возможность достать красивые урны и гроб. Со мной вынуждены общаться военные, актеры и спортсмены. Некоторые из них иногда ведут себя довольно пренебрежительно, ну так ведь и сервис тотчас получают соответствующий. Я, Петр Ильич Нестеренко, первый директор Московского крематория, и меня следует уважать, потому что я могу дать больше, чем могут дать мне, ибо я и есть московский Харон.

Когда однажды утром в мой кабинет вошел Вильгельм Каминский, я сразу узнал его. Мне не нужно было объяснять, кто он. Выпускник Гатчинской школы авиамехаников, в начале века Каминский учился летать на тех же самолетах, что и я, однако Гражданская война развела нас. Я «сопереживал» белым, он «сражался за красных». В отличие от меня, Каминский поставил на правильную лошадку, и поэтому теперь я работал в крематории, а он был начальником Ходынского аэродрома. Время от времени, приезжая посмотреть на взлетаю-

щие самолеты, я встречал его. Теперь он был главным заказчиком в строительстве Московского аэропорта, но даже такой важный человек вел со мной себя довольно скромно, ведь ему нужно хорошее место в колумбарии, а в Союзе достать его было гораздо сложнее, чем построить аэропорт.

«Для кого?» — спросил я, впрочем, без всякого интереса. В сущности, мне было всё равно. Главное, что Каминский оказался в моих руках. Мы могли быть полезны друг другу, ведь мне нужно было небо, а ему земля. Закрыв дверь, я произнес слова, к которым был готов любой советский человек, в том числе и Каминский:

«Но это невозможно!» — выслушав меня, ответил он.

«Да, я понимаю, но...»

«Никаких но! Вы ведь служили в белой армии?!»

«Можно и так сказать...»

«Тогда это исключено!»

«Это еще почему?»

«Потому что летное время до Кремля пять минут — я не могу дать вам самолет — меня расстреляют!»

«Давайте подумаем, как мы можем это решить...»

Положительно. Каминский, конечно, мог хлопнуть дверью и написать донос, но это заняло бы некоторое время (и, если честно, когда меня арестовали, я был твердо убежден, что дело именно в нем), однако, человек мудрый, он этого не сделал. Каминский понимал, что место на кладбище ему требуется сейчас. Это первое. А второе — человек военный, он понимал также, что такое скучать по небу...

«Вы боитесь, что я угоню самолет и улечу в Европу? Но я туда не хочу! Мой дом теперь здесь. Мне больше не для чего жить, а значит, и нечего терять, но все же у меня есть дело, которое я должен закончить...»

«Как русский офицер?»

«Как человек...»

Каминский согласился помочь, и спустя две недели на рейсе Москва — Ленинград, я вошел в кабину пилотов и по предварительной договоренности на несколько минут сел за штурвал. В тот день я сделал то, что давно хотел: несколько минут я управлял самолетом, а затем, пройдя в хвост, открыл заднюю дверцу и развеял прах над Москвой...

Сов. секретно 11 февраля 1935 г. № 30/002810

Трест Московского Авторемонта

Управляющему Трестом

Верховный Суд Союза ССР просит Вас принять заказ на изготовление автокузова типа «Скорая помощь» на машине «ГАЗ А-А» 1934 г. для оперативных целей Верховного Суда СССР по исполнению приговоров.

Кузов должен быть без окон, а задняя часть с широкой 2-створчатой дверью, застекленной небольшими стеклами; низ кузова должен быть обит оцинкованным железом и вся внутренняя часть кареты без всяких подвесов скамей и сидений.

Указанную работу, ввиду отсутствия другой машины, прошу изготовить в самом срочном порядке.

Председатель Верховного суда СССР (Винокуров)

Управляющий делами Верховного суда СССР (Кассель)

Теперь к самому важному. В ту ночь в столице СССР был ливень. Сверкали молнии. Я работал у печи. Наверху, стоя между новой машиной и грузовиком, подняв воротники с чужого плеча, перекрикивали барабанный дождь Окунев и Блохин. Последний жаловался, что цифры растут и расстреливать приходится слишком много.

«Пистолет, сука, всё чаще перегревается!»

Окунев отвечал, что ходят слухи, будто бы Берг сделал грузовик-душегубку, в котором осужденных отравляют газом еще в дороге.

«Это как?!» — смахивая капли со лба, уголком рта сжимая сигарету, с неподдельным интересом спрашивал Блохин.

Окунев объяснял, что как-то раз Берг решил пускать газ внутрь кузова, но не потому, что хотел убить конвоируемых, а для того только, чтобы перестраховаться, пока вез их на полигон.

«Сам знаешь, что бывает, когда народу теперь много набивают, и они начинают буяннить. Короче, в дороге он пустил газ в кузов, чтобы люди не бузили, а когда по приезде на полигон открыл створки, результат превзошел все ожидания! Внутри все уже дохлые были. Берг понял, что это очень удобно: на полигон все уже готовенькие приезжают и даже расстреливать не приходится!»

«Ого, слушай, может, и нам так начать делать?»

«Так ты же первый без работы останешься!»

«Ну хотя бы иногда. Сто отравили, сто расстреляли. Так же гораздо проще будет! Тогда же, наоборот, выслужимся! Я скажу, что мы готовы существенно увеличить лимит...»

«Я поспрашиваю...»*

Помогая водителю разгружать просевшую машину, в ту ночь я вполуха слушал профессиональные разговоры коллег и ни о чем особенном не думал. Дождь был отвратный, я промок насквозь буквально в минуту,

* Воистину некоторые открытия случаются сами собой. Изготовления душегубок ошибочно приписывают фашистской Германии, однако важно понимать, что в Советском Союзе мы придумали их раньше.

и всё, чего мне теперь хотелось, — поскорее оказаться у печи и скинуть мокрые вещи. Меня ожидала привычная монотонная работа, а потому, еще раз кивнув Блохину и Окуневу, я принялся сбрасывать оставшиеся трупы на горку, по которой они скатывались в подвал. В этот момент, как и в любой другой, на лица покойников я, конечно, не смотрел. Во-первых, в этом не было никакой необходимости, а во-вторых, последний взгляд — вещь страшная: глаза человека, недавно получившего пулю, ни с чем не спутаешь.

Спустив несколько тел, я возвратился к грузовику и взял за ноги труп женщины. Помню, что в момент этот прогремел гром. Не помню только, в небе или в моих руках. Я вздрогнул. Взорвались мурашки. Ударила молния, и, кажется, точно в меня. Еще не видя твоего лица, я сразу понял, что в руках моих ты. Вот и встретились. Добрый вечер, Вера...

Краем глаза взглянув на Блохина и Окуневу, я убедился, что им нет до меня дела. В минуту эту, укрывшись от дождя под козырьком, коллеги продолжали включать фантазию, придумывая, как можно незаметно пускать выхлопные газы в кузов.

Меня же трясло. Перевернув тебя на спину, я убедился, что на кремацию доставлена именно ты, любимая. Это был не сон, не видение, не усталость. Я закрыл и открыл глаза. Один раз. Два...

Аккуратно спустив тебя в подвал (не с помощью горки, но по ступенькам, на руках), я зачем-то проверил запястье, однако пульса, естественно, не нащупал. На всей планете теперь была тишина, хотя и продолжал греметь гром. Вполне возможно, это был вовсе и не гром даже, а эхо моих ударов, потому что в нелепых попытках ожи-

вить тебя я, наверное, несколько минут отчаянно бил тебя кулаком в грудь, ты помнишь?

«Ильич, ты с нами будешь?!» — послышалось сверху.

«Конечно! — опомнившись, прокричал я в ответ. — Сейчас!»

Когда все двадцать тел оказались внизу, я закрыл створки за первыми двумя трупами, которых сложил валежом, и тотчас загрузил следующую пару. Квартет начал звучать, и я сел рядом с твоим телом.

«Ильич, ну мы пошли! — прокричал Блохин. — Догоняй!»

Теперь у меня была вся ночь. Пока там, наверху, палачи начинали распивать первую бутылку водки возле органа, я еще раз внимательно осмотрел тебя. Правду говорят: человек — удивительное существо. Я был так ошарашен происходящим, что, кажется, больше смерти самой меня поразило вдруг, что за последние годы у тебя появились седые волосы. В мгновение это я даже чуть было не задал тебе совершенно бестактный вопрос: «Милая моя, когда же ты успела поседеть, а?»

Несколько минут я смотрел на тебя, после, словно придя в себя, перевернул на живот и внимательно изучил затылок. По входному отверстию было понятно, что стрелял Блохин. Сомнений в этом быть не могло. Почерк его я хорошо знал и работу Василия Михайловича, как ты уже знаешь, чрезвычайно ценил. Положив тебя обратно на спину, я посмотрел в потолок: там, этажом выше, поднимал первый тост человек, который сегодня ночью видел тебя живой. Там, наверху, выпивал человек, который убил тебя.

«Еще несколько часов назад ее сердце билось, — в ту ночь подумал я. — Теперь я могу подняться к Блохину

и спросить, как она вела себя, что говорила, как смотрела на него, слушая приговор. Я могу взять нож и зарезать его, только что это изменит, если в этом случае он будет жертвой, а я убийцей?! Блохин честно несет свой крест. Он всего-навсего делает работу, а вот Вера, моя Вера, выходит, враг народа. Блохин — ценный сотрудник, он человек, заслуживающий орден Ленина и два ордена Красного Знамени, а она... она не имеет теперь права даже на могилу».

Всю ту ночь, выгружая пепел и загружая в печь новые трупы, перемалывая останки, я разговаривал с тобой:

«Вот, милая, теперь ты знаешь, какая у меня работа. Теперь ты видишь, где все эти годы я жду тебя. Милая Вера, маленькая моя, ты хочешь, чтобы я поговорил с твоими, или лучше, чтобы они продолжали жить надеждой? Они вообще знают, что тебя арестовали? Им скажут, что ты осуждена на десять лет без права переписки. Как минимум еще десять лет твои родственники могут верить, что ты жива. Десять лет — хорошее время, чтобы проститься с человеком. Так что же, скажем им правду?»

Темно-синие губы. Рот твой был слегка приоткрыт. Я вспомнил теперь, что ровно так же ты всегда спала. В ту ночь мне хотелось верить, что через полчаса ты, как всегда, трогательно начнешь сопеть и проступит паутинка слюны, но слюны больше не было — здесь была только запекавшаяся кровь.

Часа в три к печи спустился пьяный Блохин. Аккуратно переступив через тебя (сапоги дороже), он попытался совладать с собственным языком и спросил:

«Сколько осталось, Ильич?»

«Вот все эти...» — пристально разглядывая Блохина, ответил я.

«Ты чего это вылупился на меня? Ты чего бухать-то не идешь? Мы уже почти все допили!»

«Да чего-то не успеваю сегодня. Замотался. Сам видишь, тут еще много работы...»

«Вот эта вот, шлюха, — с мутной улыбкой проговорил Блохин, — очень глупо себя вела. Говорила, что произошла ошибка, что она известная актриса, что ей покровительствует сам Сталин. Знала бы, дура, сколько таких актрисул я перебил...»

«Она не шлюха», — схватив за ворот Блохина, ответил я.

«Ты ее знал, что ли?»

«Проваливай!»

Ранним утром, убедившись, что на кладбище больше никого нет, я отправился на склад, где выбрал лучший гроб и венки. У меня не было времени хорошо подготовиться, не было красивого платья для тебя, поэтому я омыл твое тело и положил в гроб голой — одеждой тебе теперь были цветы, которые я собрал со всего кладбища.

Я не плакал до этого дня, никогда не плакал после, однако, когда за гробом закрылись створки, меня начало колотить. Кажется, что слезами своими я мог затопить мою печь.

Сев рядом, я закрыл лицо руками и для всего Советского Союза, для мира всего начал вести радиотрансляцию твоих похорон:

Говорит Москва! От Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров Союза ССР и Президиума Верховного Совета СССР!

Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза! Дорогие товарищи!

Друзья!

С чувством глубокой скорби извещаем, что после фатальной ошибки Советского судопроизводства героически погибла Вера Нестеренко...

И Москва погрузилась в великий траур — случилась самая пышная церемония в истории Советского Союза! Со всех сторон к центру города начали стекаться сотни тысяч скорбящих. Уже к девяти часам было полностью парализовано Садовое кольцо. Позже будут рассказывать, что в 1937 году для расширения проезжей части и защиты от химической атаки была снесена вся линия садов, однако в действительности это сделали заблаговременно, и для того только, чтобы на похороны твои, милая, смогли прийти все желающие. Здесь было несколько миллионов человек, которые, словно в Мекке, медленно двигались по кругу. Настроение царило печальное, но и торжественное, безнадежное, но и воодушевленное, ведь ни у кого здесь не было сомнений, что это не конец — святой Августин говорил, что Бог способен воскресить человека из пепла, а значит, мы еще обязательно увидимся, думал я. Все, что нам теперь оставалось, — реабилитировать в Советском Союзе самого святого Августина...

Едва новость о смерти твоей разлетелась по миру, в столицу Советского Союза начали съезжаться мои близкие друзья и верные товарищи: здесь были сербские авиаторы и индийские проститутки, варшавские мотористы и немецкие писатели, греческие рыбаки и болгарские отельеры. Со слезами на глазах они стояли у стен Донского кладбища. В Париже натурально остановилась жизнь! Все таксисты города единой колонной выдвинулись в сторону Москвы. Кое-кто беспокоился, что они могут не успеть, но опасения эти

были напрасны, потому что похороны твои длились не один месяц, а целый год! Понимая это, вслед за таксистами пешком в Москву шли рабочие заводов Ситроена и Рено, шли трудящиеся всех авиационных предприятий Англии, садились на корабли простые люди США. Я сидел в подвале крематория — мне было не видно, но я знал, что там, высоко в небе, кружили тысячи самолетов, которые один за другим заходили на посадку, чтобы выгрузить самые красивые и впечатляющие своим роскошеством венки. Могли ли мы представить себе, милая, что здесь, в Москве, одновременно появится столько кипарисов, которые в специальных кадках доставили из Франции?

Ты помнишь, я всегда был против красного, поэтому Москву украсили лишь флагами черными и темно-синими. Катафалк, в который запрягли сто зебр, рядом с которым гордым эскортом двигались раскрывшие хвосты павлины, укрыли протезами из Южной Африки и плюмериями с Гавайских островов, свежими ветками лавра из Батуми и ландышами из Риги. Из всех громкоговорителей доносилась светлая соната Скарлатти, которую, согласно моему желанию, исполнял специально возвратившийся из США Владимир Горовиц. Вслед за ним выступал одессит Ойстрах. Великий музыкант исполнял что-то из того, что Арво Пярт сочинит лишь спустя много лет, и, конечно, на самой верхней и душераздирающей ноте лопнула струна...

Открыв глаза, я тяжело вздохнул. Тебя больше не было. Был только прах. Когда пришло время, я открыл печь и достал останки, которые теперь предстояло перемолоть. Сделав все технические процедуры, я опустил руку в зольник, взял в ладонь горсть и поднес к губам. В то утро, милая, я впервые в жизни попробовал на вкус пепел...

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по следственному делу № 2716 по обвинению

Нестеренко Петра Ильича

в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-1а и 58-13 УК РСФСР

НКВД СССР 23 июня 1941 года был арестован директор Московского крематория Нестеренко Петр Ильич, как подозрительный по шпионажу.

Произведенным по делу расследованием установлено, что Нестеренко П. И. происходит из дворян. До Октябрьской революции служил в царской армии в чине штабс-капитана. После революции был избран начальником гарнизона Красной Армии в г. Гатчино, откуда вскоре был командирован командованием Красной Армии в г. Харьков.

В 1918 году при оккупации немцами г. Харькова, Нестеренко дезертировал из рядов Красной Армии, добровольно вступил в армию Деникина и служил в чине полковника, исполняя обязанности начальника строевой части авиации армии Деникина, а впоследствии помощника командира офицерского отряда по охране г. Новороссийска и его окрестностей.

В 1920 году, будучи раненым, эвакуировался в Сербию, где занимался вопросами снабжения самолетами белой армии.

В 1921 году из Сербии выехал в Польшу, и примкнул к савинковцам, но вскоре возвратился в Сербию, а в 1923 году переехал на жительство во Францию.

Проживая во Франции, Нестеренко принимал активное участие в белоэмигрантском движении.

В 1924 году через советское полпредство в Лондоне подавал заявление с просьбой разрешить ему въезд в Советский Союз, но в просьбе ему было отказано.

Нестеренко удалось пробраться в Советский Союз. По прибытии в СССР Нестеренко устроился работать

в Московский крематорий, где служил по день ареста, тесно соприкасаясь с сугубо секретными спец. работами по линии органов НКВД.

Проживая в СССР, Нестеренко неоднократно встречался с подозрительными по шпионажу иностранцами.

В 1936 году на территории Крематория, где была расположена квартира Нестеренко, органами НКВД был обнаружен тайник одной иностранной разведки.

Кроме того, по показаниям бывшего работника НКВД СССР Зубкина (осужден) Нестеренко намечался Булановым к привлечению в так называемую специальную группу для совершения террористического акта над руководителями партии и советского правительства в момент посещения ими крематория.

На следствии Нестеренко себя виновным признал в том, что с 1918 по 1921 год принимал активное участие в борьбе против советской власти на стороне белой армии. Шпионаж отрицает. Изобличается материалами дела.

На основании изложенного

Нестеренко Петр Ильич, 1886 года рождения, урож. Харьковской области, русский, гр-н СССР, из дворян, офицер царской и белой армии, беспартийный, до ареста работал директором 1-го Московского Крематория, обвиняется в том, что:

находясь на ответственной должности в армии Деникина в период гражданской войны, принимал активное участие в борьбе против Красной Армии;

проживая за границей до 1926 года, принимал активное участие в белоэмигрантском движении;

имел подозрительные по шпионажу связи среди иностранцев, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58*1 «а» и 58*13 УК РСФСР.

Считая следствие по делу законченным, руководствуясь ст. 208 УПК РСФСР и приказом НКВД СССР за № 001613 от 21/XI-41 г.,

следственное дело № 2716 по обвинению Нестеренко Петра Ильича направить на рассмотрение Особого Соединения при НКВД СССР.

Полагал бы:

В отношении обвиняемого Нестеренко П. И. определить высшую меру наказания — РАССТРЕЛ с конфискацией лично принадлежащего ему имущества.

Обвинительное заключение составлено «7» января 1942 года в гор. Саратове.

Ст. следователь Следгруппы 2 Упр. НКВД СССР
лейтенант Госбезопасности
Перепелица (подпись)

«Согласны»:

Нач. Следгруппы 2 Упр. НКВД СССР
Ст. лейтенант ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
Агаянц (подпись)

Прокурор по спецделам Прокуратуры Союза ССР
Ананьян (подпись)

Справка: Обвиняемый Нестеренко арестован 23/VI. 41 г. Содержится под стражей в Саратовской тюрьме УНКВД.

Едва крылья кулис разлетелись к порталам, ты вышла к рампе и, окинув взглядом первые ряды, тотчас заметила меня. За год до нашей последней встречи в крематории я нашел наконец твою девичью фамилию в театральной афише и, с трудом пережив часы ожидания, занял лучшее место в партере.

У меня не было никаких сомнений, что ты сразу узнаешь меня. Так и произошло. Ты обещала, и я пришел. Авария. Лобовое столкновение. Наши взгляды ударились друг о друга, и ты улыбнулась. После стольких лет ты перевела дыхание, собралась с силами и начала играть лучший в своей жизни спектакль.

Все эти годы, преследуя тебя, я видел многих актрис. Большинство из них, что естественно, начиная всякий спектакль, тоже обращались ко мне. Метод один, но результат разный. Нестеренко — зритель непростой. Ни одна из них (даже самых техничных и известных) не могла вызывать во мне сильных чувств. Я не сопереживал. Иногда я улыбался и аплодировал, но не сверх того. В действительности всех актрис Советского Союза объединяло теперь только то, что я не откликался на их игру. Я знал, что есть ты и что ты играешь гораздо лучше. Долгие годы ожидая тебя, из спектакля в спектакль я не давал ни единого шанса другим актрисам. Когда же ты наконец появилась на сцене — случилось невероятное. Я был уверен, что ни одна женщина никогда прежде так не говорила со мной. Я смотрел на сцену и понимал, в моменте этом понимал, что всё, что случилось со мной за эти годы, было не зря. Все эти испытания, все страдания и унижения были ценой сегодняшнего билета. В том зале, конечно, должен был быть только я, но что уж тут поделаешь, если любоваться моим сокровищем Советский Союз позволял всем? Что ж, я был не против!

Затаив дыхание, я смотрел на сцену и чувствовал, что ты любишь, что все эти годы ты верно любила меня. Ты играла, и я сидел как замороженный, потому что прекрасно понимал, что на этой сцене ты теперь только для меня. Я был уверен, что ты смотришь теперь на меня и просишь всегда любить тебя. Мне казалось, что ты умоляешь меня во что бы то ни стало беречь тебя.

Оживляя пустой совсем текст, ты смотрела в зал и внушала мне зайти к тебе после спектакля. Зрители рыдали, но важно теперь было только то, что в момент этот, после стольких лет разлуки, после всех неурядиц и недопониманий, после всех наших случайных встреч и истеричных расставаний ты извинялась передо мной. Ты продолжала спасать бессмысленный и бессвязный текст какого-то бездарного советского драматурга, но гораздо важнее был диалог, что в минуты те разворачивался между мужчиной и женщиной, которые встречались в Киеве и в Константинополе, в Париже и в Москве. Ты смотрела на меня, и я понимал, что ты просишь только об одном: любимый, не покидай меня.

«Все может забыться, и то, что уже прошло, и время, которое мы потеряли, потому что жили порознь, потому что была война, и голод, и революция, всё может забыться, но главное — главное, что теперь мы всегда будем вместе, только не покидай меня! Не покидай меня, милый!»

Звучала красивая музыка, и ты говорила мне:

«Я подарю тебе жемчужины дождя, Петя, я подарю тебе жемчужины дождя из стран, где не бывает дождя. Я буду искать их и, пока не умру, буду осыпать ими твое тело, чтобы ты, милый Петя, чтобы ты, милый, только знал, как я люблю тебя!»

Ты говорила с залом, но смотрела только на меня. Ты говорила с залом, но, глядя на меня, одним взглядом своим, шептала мне и только мне: не покидай меня! Больше никогда, прошу, не отпускай меня! Об одном только молю — не отпускай меня никогда!

«Не позволяй мне быть отдельной от тебя! Я объехала всю Европу и поняла, что не могу стать свободной без тебя! Я вернулась, и теперь я обещаю, что создам наш мир, слышишь, милый?! Я создам мир, где любовь будет уставом, и где любовь будет законом, и где ты будешь королем и членом компартии, только молю тебя, ми-

лый, не покидай меня! Не покидай меня больше никогда! Я выдумую для тебя такие слова, которых никогда не было, но которые поймешь только ты, и ты поймешь, как я люблю тебя! Я выдумую новые и все на свете слова, но только прошу, прошу тебя, милый, не покидай меня. Ты будешь жить во мне, под моей кожей! Я буду тебе говорить, я всегда буду говорить только тебе, и ты услышишь, и ты простишь меня... Я больше не буду плакать! Я не буду капризной! Я затаюсь здесь, чтобы смотреть, как ты летаешь и улыбаешься, я затаюсь здесь, чтобы слушать, как ты поешь и смеешься. Позволь мне стать тенью твоей тени, тенью твоей руки, тенью твоей собаки, но только, милый, милый Петя, не покидай меня...»

Она просила, и я простил ее! Вера просила меня забыть прошлое, и я пошел ей навстречу. Она умоляла меня быть с ней, и, едва раздались аплодисменты, я побежал в сторону гримерки. Ничего не смыслящие в театре люди продолжали аплодировать, и, спешно покидая зал, я пробирался к гримерке женщины, которая всё еще была без ума от меня...

Толкнув дверь, я вошел и увидел, как ты смываешь грим. Я улыбнулся, но ты почему-то вздрогнула и испуганно спросила:

«Кто вы?»

«Как это — кто я?!»

«Вы хотите автограф?»

«Да что за чепуха?!» — пытаюсь обнять тебя, удивился я.

Наверное, боится спугнуть собственное счастье, тогда подумал я. Вера так качественно изображала удивление, что я на секунду даже поверил ей...

«Актриса! Разыгрываешь меня, да?»

Но любимая не ответила — любимая спросила, кто я. После всего, что с нами было, после всего, что с нами произошло, после всего, что только что случилось в зале, она сделала вид, что не узнает меня!

«Кто вы?»

«Как это — кто я?!» — уже не на шутку рассердившись, вскрикнул я.

«Я спрашиваю, что вы здесь делаете?! Вы хотите, чтобы я подписала вам открытку?»

«Вера, брось!»

«Уходите!»

И тогда я прикрыл за собой дверь. Честно говоря, я очень злился. Вера продолжала делать вид, что не узнает меня. Я не понимал, почему она так ведет себя. Почему моя любимая боится меня? Почему не признает меня? Я сдерживался. Советский человек ведь должен быть сдержанным, да? Эмоции — удел слабаков.

Я прикрыл за собой дверь и подошел к ней. Я посмотрел на нее так, чтоб она поняла: комедию можно больше не ломать — перед ней я и именно я! Перед ней тот, в кого она так сильно влюблена!

«Здесь, наверное, произошла какая-то ошибка...» — смущаясь и как-то даже опасаясь меня, тихо прошептала ты.

«Любовь — это всегда ошибка», — положив руку на твою щеку, ответил я.

«Уходите, прошу вас...»

«Зачем ты так, милая, я же видел, как ты смотрела на меня!»

«Но я никогда не смотрю в зал», — зачем-то сказала ты...

Я посмотрел на тебя и вдруг заметил, что в твоих глазах больше нет любви. Теперь здесь были лишь страх

и испуг. Ты смотрела на меня так, будто я был уродливым чудовищем.

Она смотрела на меня так, словно я был человеком неприятным, хотя в тот вечер, как и в любой другой, явившись в театр, выглядел я до того хорошо, что в Советском Союзе столь элегантный вид мог вызвать разве что подозрение в шпионаже.

Сообразив, что тебя может отталкивать запах копоти и человечины, я принял к манжету, однако нет — пахло от меня хорошо.

Так почему же она не признала меня?

«Уходите немедленно, или я позову на помощь!»

Признаться, это очень сильно оскорбило меня. Если быть до конца откровенным, никто и никогда в жизни так не унижал меня. Сердце мое было наполнено любовью, а на деле вышло, что моя возлюбленная боится и, кажется, даже презирает меня. Она смотрела на меня брезгливо, смотрела свысока. Я любил ее, я прощал ее, я ехал за ней, а она смотрела на меня так, будто я был каким-то нежелательным в ее жизни элементом...

«Я в последний раз говорю вам: уходите, я вас знать не знаю!» «Да-да, конечно, извини...» — покорно ответил я.

За год до нашей последней встречи в крематории я действительно сказал: «Да-да, конечно, извини» — и вышел из гримерки. В тот вечер я брел в сторону дома и не мог поверить случившемуся. Я злился. Я был раздавлен...

Спустя неделю, как ты помнишь, я вновь зашел в гримерку после спектакля, но на этот раз ты даже не дала мне поздороваться:

«Товарищи!» — тотчас закричала ты.

И я вновь вынужден был уйти.

Не веря всему, что происходит, я начал преследовать тебя. В течение месяца в разных местах Москвы, после утренних и ночных кремаций, я выслеживал тебя. Всякий раз у нас повторялся один и тот же аттракцион. Я подходил, здоровался и пытался начать разговор, однако ты непременно кричала. Я подстерегал тебя до репетиций и после, достигал в дни спектаклей и в выходные, вырастал перед тобой в скверах и в продовольственных магазинах, в метро и на выходе из ресторана, где ты выпивала со своими товарищами, но всякий раз ты только взывала о помощи...

Все эти дни она делала вид, что меня не существует, и, когда это случилось, наверное, раз в пятый, я понял, что нужно прекращать, потому что преследовать ее далее просто опасно!

В нашу последнюю встречу я спросил у нее:

«Вера, милая, я обещаю, что больше не потревожу тебя, но объясни мне только, объясни, умоляю, почему ты не узнаешь меня?»

«Потому что я хочу жить, Петя, — вдруг призналась ты, — потому что я хочу жить, а с тобой меня ничего не ждет! Тебя скоро арестуют! В этом нет никаких сомнений! Я не хочу говорить с тобой, потому что общение с тобой опасно! От тебя пахнет смертью, Петя! Как бы ты ни наряжался, как бы ни старался уложить волосы, от тебя пахнет кладбищем и ямами! Я знаю, кто ты, я знаю, где ты работаешь! Я была на Донском год назад и узнала тебя. Я не хочу жить среди могил, и не для того я вернулась сюда, чтобы быть с тобой! Если ты помнишь, я бросила тебя! Я хочу быть актрисой, а не оказаться в лагерях, потому что живу с белоэмигрантом! Я не узнаю тебя, Петя, потому что выбираю жизнь! Я хочу быть

счастливой и никому, слышишь, Петя, никому больше не позволю влиять на мою судьбу. Теперь я здесь, и меня ждет большое будущее! Ты даже не представляешь, кто мне покровительствует! Да, сейчас он выбирает между Давыдовой и Шпиллер, но, пока они будут грызться между собой, я стану первой актрисой этой страны!»

«Господи, ты что, всерьез говоришь, что тебя опекает сам?..»

«Да, Петя! Да! Не ты, а человек, который поднял эту землю! Человек, который каждый день делает нас самым передовым государством на планете! Ты хоть понимаешь, как все устроено в нашей стране? Ты понимаешь, какая это честь для меня?! Ты хоть понимаешь, где ты и где он? Ты хоть понимаешь, что значит быть замеченной им самим? Ты знаешь, какая это ни с чем не сравнимая гордость и ответственность — знать, что он в зале, что, отвлекаясь от забот о нашем народе, он отдыхает, глядя на меня! Ты, человек, который всю жизнь только и делаешь, что воюешь, убиваешь и закапываешь, можешь хотя бы представить себе, что существуют другие миры, где мужчина не разменивается на мелочи, а думает о важном?! Ты можешь себе представить, что, пока ты занят своим грязным делом, он поднимает нашу страну?! Я счастлива радовать его своей игрой! И пускай пока я и не на первых ролях, но, если меня уже отметил он, значит, безусловно, отметят и режиссеры!»

«Господи, Вера, что ты несешь?!»

«Убирайся и больше никогда не появляйся в моей жизни! Я щелкну пальцами — и ты превратишься в пепел, понял меня?»

«Понял».

Я был разрушен. Я понимал, что дальше так продолжаться не может. Жизнь не шарманка. В тот день

я осознал, если я хочу сохранить себя — должен порвать с Верой. И я решил, что напишу донос...

«Нестеренко, на выход!»

Вот и всё. Дверь камеры зло смеется. Меня подталкивают новым коридором, и, хорошо изучив саратовскую тюрьму, я понимаю, что в эту сторону еще никогда не ходил — в сторону смерти два раза не водят.

Я оказываюсь в рвотного запаха комнате, где кроме меня находятся еще трое. Всё, как я себе и представлял: оббитые звуконепроницаемыми войлочными плитами двери, обязательная в таких случаях деревянная стена (чтобы не ricochetили пули). Пол с уклоном, рядом шланги с водой, чтобы смывать кровь, которой здесь уже так много, что, кажется, с ней никогда не разобраться. То, что сейчас будет происходить, объяснять мне не нужно — аромат смерти я знаю хорошо. Запах здесь стоит до того сильный, что мне кажется, будто рот мой уже полон крови. Так выглядит момент, который я репетировал вот уже несколько лет.

Я готов. Я понимаю, что все, что мне сейчас необходимо, — закрыть глаза и сосредоточиться...

Пистолет прижимается к затылку всего несколько секунд. Дуло не холодное и не ледяное. Напротив, как я и предполагал, я успеваю почувствовать лишь, что ствол перегрет от предыдущих расстрелов. Механизм отлажен, а потому особенно долго фокусироваться на данном обстоятельстве мне не приходится. Пока позади чихает комендант, а справа кто-то с обескураживающей скоростью, проглатывая гласные, неразборчиво тараторит мой приговор: «Осбм свщнием пр Нрдном

Кмссаре Внтрнних Дел СССР от «8» авгста 1942 гда дело № 2716/ следчасть 2-го упрвлния НКВД СССР по обвинению...», — я успеваю заметить только кровавые полосы на полу — значит, повезут на полигон, значит, закапывать будут не здесь...

«Всё складывается как нельзя лучше», — думаю я и...

Пф-ф!

Спроси — Неву,
Ты знаешь, я давно живу. Уйти? Куда? —
Туда, где время не вода.
С собой, возьми, и я возьму с собой тебя.
Мне объясни, что слишком мало декабря,
нам...

Нева-нева-нева-неважно, ни боли, ни жажды.
Крылатым умирает каждый, рождая дожди...

— Ну что, Петя, не верил, что тебя расстреляют, да?

— Почему же не верил? Верил! Я не верил, что умру, и, как видишь, оказался прав! Но зачем ты пришла сюда?

— Не знаю. Соскучилась по тебе. Много крови у тебя теперь на лице, кстати... Пуля, что, вышла через подбородок, да?

— Да, как я и задумал... Я бы умылся, да нет сил встать пока...

— Да ничего, ты лежи... тебе теперь долго здесь лежать...

— А ты так и будешь там сидеть на краю или спустишься ко мне?

— Нет, не хочу спускаться — боюсь платье запачкать...

— Понимаю... не холодно тебе?

— Да нет. А страшно было, когда расстреливали?
— Не-а, не особенно, а тебе?
— А я думала, что меня расстреливают из-за тебя...
Всё, что о тебе знала, всё им выложила! Уже даже когда Блохин пистолет к голове приставил, всё кричала, что ты шпион. Думала, что они меня в сторону отведут, что продолжат следствие, но... Признайся, это ведь ты настучал на меня, да?
— А ты сама как думаешь?
— Не знаю, иногда мне кажется, что я совсем тебе не доверяю, впрочем, какая теперь уж разница?! Расскажи лучше, как они расстреляли тебя?
— Да нормально. Было даже немного похоже на взлет, когда тебе остается проверить лишь температуру и давление, направление ветра и открыть дроссель... Первое мгновение после выстрела я подумал, что самолет мой резко взлетел, но затем я почему-то стремительно повалился на пол и...
— Даже сейчас не можешь без своих самолетов...
— Знаешь, я еще подумал, если и есть в жизни действие, к которому следовало бы применить слово «потрясение», так это, конечно, расстрел. Всё, что мне приходилось чувствовать и переживать прежде, не идет ни в какое сравнение... разве что влюбленность — влюбленность очень похожа на расстрел...
— А что было, когда ты упал? Почему они сразу не добились тебя?
— Не знаю. Переступив через меня, комендант Рыков кивнул старшему лейтенанту Неробееву и, не разобравшись в ситуации, объявил коллеге, что со мной дело кончено. «Этот готов», — сказал он и оттащил меня в сторону.
— А скольких еще они расстреляли?
— Да вот всех этих, кто тут рядом со мной лежит...
— Не кисло...

— Ага...
— И что, все якобы немецкие шпионы?
— Выходит, что так...
— Понятно, ну а что потом?
— А потом, когда меня бросили в углу, самое сложное было не мычать. Губы и язык начали жить собственной жизнью, всё тело тоже. Я дергался, какие-то звуки жевал. Я слышал, как шаркали их подошвы, слышал, впрочем, неразборчиво, их голоса. Кажется, сперва я потерял счет времени. Голова была тяжелая, будто в меня влили ведро свинца. Думаю, спасло меня только то, что человек, который вытащил меня на улицу, не сомневался, что если я до сих пор и не сдох, то вот-вот отдам концы. Пока в подвале кончали остальных, меня забросили в кузов, и, стерев кровь с перчаток, водитель грузовика закурил. Чья-то нога загораживала мне обзор, но я всё же смог разглядеть, что водитель смотрит на звезды, представляешь? Так всё это глупо было, что я начал смеяться. В горле забурилась кровь, и, выбросив окурок, он закричал:
— Эй, у вас тут один недобиток!
— Значит, водитель заметил, что ты еще жив?
— Да, сучий сын... Моя ошибка... Какой глупый просчет, верно? Тысячу раз помыслив собственный расстрел, я ни разу так и не представил, что выстрелов этих может быть два...
— Значит, они добились тебя уже здесь, в яме?
— Не-а. Поленились. По дороге на полигон я потерял сознание, и, вытащив меня из кузова, они просто бросили тело в яму. Достреливать не стали — видно, очень хотели поехать поскорее бухать.
— Понятно. Ну и что теперь собираешься делать?
— Я?
— Петь, ну не я же!
— Жить! Я, Верочка, собираюсь жить! Я проживу длинный-длинный ряд дней и долгих вечеров; я буду

терпеливо сносить испытания, какие пошлет мне судьба; буду трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит мой час, не сейчас, но когда только наступит мой час, я покорно умру и там за гробом скажу, что страдал...

— Дурак ты, Петька, ну я же серьезно тебя спрашиваю!

— А если серьезно, я правда думаю, что буду жить! Я буду жить, потому что человек живет только раз и, не имея подобного опыта, всякий раз живет неудачно. Человек попросту не умеет жить. Жизнь происходит ощупью, в потемках, однако жизнь, как и всякая деятельность, требует навыка, и, чтобы жить вполне благополучно, надо знать, как жить, надо учиться жизни, и я выучусь!

— И что, думаешь, у тебя получится?

— Я уверен, что да!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПУСТАЯ. ЖИЗНЬ *

^{*} 21 июля 1992 года будет вынесено решение, что на Нестеренко Петра Ильича распространяется действие ст. 3, ст. 5 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года. Так что 21 июля 1992 года я буду реабилитирован!

Реабилитирован, но не более того...

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. Следствие	5
Допрос первый #	16
Допрос второй #	46
Допрос третий #	80
Ночь перед четвертым допросом	92
Допрос четвертый #	95
Продолжение четвертого допроса #	108
Допрос пятый #	121
Допрос шестой #	141
 Часть вторая. Приговор	 171
 Часть третья. Пустая. Жизнь	 209

Литературно-художественное издание

Серия «Самое время!»

Саша Филипенко

КРЕМУЛЯТОР

роман

Редактор

Елена Холмогорова

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Верстка

Оксана Куракина

Корректор

Алла Гладкова

Подписано в печать ??

Формат 84x108/32

Усл. печ. л. ??

ООО Издательство «Время»

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@books.vremya.ru

18+